

ПОЭТЫ РАЗНЫХ СТРАН

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ



Леонид Николаевич Мартынов родился в 1905 году в Омске. Детство свое поэт провел в служебном вагоне отца — техника-путейца — на Великой Сибирской магистрали. Был матросом, сборщиком лекарственных растений, сельским книгоношей, Пешком и на верблюдах исходил он и изъездил Казахстан, Сибирь, Среднюю Азию. Свое первое стихотворение Леонид Мартынов напечатал пятнадцатилетним юношей. За последние тридцать лет поэт опубликовал более десятка стихотворных сборников. Среди них — «Позмы», «Эрцинский лес», «Лукоморье», «Лирика», принесшие ему широкую известность.

Еще юношей Леонид Мартынов стал переводить стихи. Его любимыми поэтами были Вийон, Верлен, Байрон, Уитмен, С 1946 года он переводит помногу, особенно венгерских поэтов, классиков и современников — Петефи, Ади, Йожефа, Гидаша. Народные венгерские песни, слышанные

Леонидом Мартыновым в детстве от работавших в Сибири военнопленных, зрители в его душу любовь к венгерской поэзии.

Принцип Леонида Мартынова — переводить важнейшие произведения того или иного поэта.

Леонид Мартынов постоянен в своих поэтических привязанностях. Почти все, что он переводит в последние годы, принадлежит поэзии социалистических стран Европы — Венгрии, Польши, Чехословакии, Югославии. Лучшим своим переводом Леонид Мартынов считает «Зелень» Юлиана Туви́ма — перевод, высоко оцененный самим польским поэтом.

В предлагаемом читателям сборнике переводов Леонида Мартынова помещено лишь немногое из того, что создал поэт за многие годы.

Издательство

«ПРОГРЕСС»

М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,

М. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА

и Б. СЛУЦКОГО

ВЫПУСК 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

С К О Г О

П Е Р Е В О Д А

**ПОЭТЫ
РАЗНЫХ СТРАН**

СТИХИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

В ПЕРЕВОДЕ

**ЛЕОНИДА
МАРТЫНОВА**

М О С К В А

1 9 6 4

РЕДАКТОР ВЫПУСКА БОРИС СЛУЦКИЙ

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

(Вместо предисловия)

Я вспомнил их, и вот они пришли. Один в лохмотьях был, безбров и черен; схоластику отверг он, непокорен, за что и осужден был, опозорен и, говорят, не избежал петли.

То был Вийон.

Второй был пьян и вздорен, блаженненького под руки вели, а он взывал: «Пречистая, внемли, житейский путь мой каменист и торен, кабатчикам попал я в кабалу, Нордау Макса принял я хулу, да и его ли только одного!»

То был Верлен.

А спутник у него был юн, насмешлив, ангелообразен, и всякое творил он волшебство, чтоб все кругом сияло и цело: слезу, плевков и битое стекло преобразал в звезду, в цветок, в алмаз он и в серебро.

То был Артюр Рембо.

И может быть, толпились позади еще другие, смутные для взгляда, пришедшие из рая либо ада И не успел спросить я, что им надо, как слышу я в ответ:

— Переводи!

А я сказал:

— Но я в XX веке живу, как вам известно, господа. Пекусь о современном человеке. Мне некогда. Вот вы пришли сюда, а вслед за вамп римляне и греки, а может

быть, этруски и ацтеки пожалуют, что делать мне тогда? Да вообще и стоит ли труда? Вот ты, Вийон, коль за тебя засяду и, например, хоть о Большой Марго переведу как следует балладу, произнесет редактор: «О-го-го! Ведь это же сплошное неприличье». Он кое-что смягчить предложит мне. Но не предам твоей сатиры бич я редакционных ножиц тупизне. Я не замажу кистью штукатура готическую живопись твою!

А «Иностранная литература», я от тебя, Рембо, не утаю, дала недавно про тебя, Артюра, и переводчиков твоих статью * — зачем обратно на земные тропы они свели твой образ неземной подробностью ненужной и дурной, что ты, корабль свой оснатив хмельной и космос рассмотрев без телескопа, вдруг, будто бы мальчишка озорной, задумал тероскоп гелиотропы, на свежий воздух выйдя из пивной?

И я не говорю уж о Верлене — как надо понимать его псалмы, как вывести несчастного из тьмы противоречий? Дверь его тюрьмы раскрыть! Простить ему все преступленья: его лирическое иступленье, его накал до белого каленья. Пускай берут иные поколения ответственность такую, а не мы!

Нет, господа, коварных ваших строчек да не переведет моя рука, понеже ввысь стремлюсь за облака, вперед гляжу в грядущие века. И вообще, какой я переводчик! Пусть уж другие и еще разочек переведут, пригладив вас слегка!

Но если бы, презрев все устрашенья, не сглаживая острые углы, я перевел в а с , — все-таки мишенью я стал бы для критической стрелы, и не какой-то куро-петушиной, но оперенной дьявольски умно: доказано бы было все

* «Иностранная литература», 1962, № 2.

равно, что только грежу точности вершиной, но не кибернетической машиной, а мною это переведено; что в текст чужой свои вложил я ноты, к чужим свои прибавил я грехи и в результате вдумчивой работы я все ж модернизировал стихи. И это верно, братья иностранцы; хоть и внимаю вашим голосам, но изгибаться, точно дама в танце, как в данс-макабре или контрдансе, передавать тончайшие нюансы средневековья или Ренессанса — в том преуспеть я не имею шанса, я не могу, я существую сам!

Я не могу дословно и буквально, как попугай, вам вторить, какаду! Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокую облаву затеет ополчение толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических вещей.

Тут слышу я:

— Дерзай! Имеешь право. И в наше время таких вещей не избегали. Антокольский Павел пусть поворчит, но это не беда. Кто своего в чужое не добавил? Так поступали всюду и всегда! Любой из нас имеет основание добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодование, в чужое тленье своего огня. А коль протак взялся бы за работу, добавил бы в чужие он труды: трудолюбив — так собственного пота, ленив — так просто-напросто воды!

Л. МАРТЫНОВ

МЧАЩЕЕСЯ ВРЕМЯ

Михаил Акоминат

(XII век)

*Когда
Мерещится
Мне облик грека,
То вспоминается не век Перикла,
Но Греция XII века,
Которая увяла и поникла,
Когда погрязли в скверне византийцы,
И рушилась Империя, и часто
Какие-нибудь воры и убийцы,
Смеясь, кичились званием себаста,
Когда в Афинах византийский мистик
Все попирал, что дорого и свято...
Но лучшая из всех характеристик
Эпохи той — стихи Акомината,
Стихи Акомината Михаила,
Плач об Афинах, так назвать их, что ли...
Я перевел их как умел. Их сила —
Отчаянье, заряд душевной боли.
Вот замерший в Акрополе пустынном
Вопль под названием:*

«Любовь к Афинам».

Любовь к Афинам это начертала...
Их слава, что когда-то так блистала,
Теперь играет только с облаками,
Своих порывов охлаждая пламя
В тени руин. Не встанет перед взором
Величие былое, о котором
Вещало поэтическое племя.
Вожак эонов, мчащееся время,
Сей город погребло под грудой сору,
Среди камней, катящихся под гору.
И на ужаснейшее из страданий —
На муки безнадежных пожеланий —
Я обречен. Глаза бы не глядели
На то, что есть теперь на самом деле.
Иным еще попытки удаются
Иллюзией какой-то обмануться,
Чтоб встретиться хоть с дружественным ликом,
А я в своем несчастье великом
Сравнюсь лишь разве только с Иксионом:
Как он когда-то в Геру был влюбленным,
Так я в Афины; но, влекомый к Гере,
Хоть тень блестящую по крайней мере
Он брал в свои объятия. Увы мне!
Что воспевать могу я в этом гимне?
В Афинах обитаю, но в Афинах
Афин не вижу. Даже на пустынных
Развалинах, и их скрывая прелесть,
Лег жуткий прах. Куда же храмы делись?
Град бедственный! Как сгибло все? Где
скрылось?

Как все в одно преданье превратилось?
Где кафедры ораторов? Где люди
Высокочтимые? Где суд и судьи,
Законы и народные собрания,
Подача голосов и совещанья,
И праздники, и пифий вдохновенье?
Где победители в морском сраженьи?
Где сухопутных войск былая сила?
Где голос муз? Погибель поглотила
Все доблести, присущие Афинам.
Они не оживают ни в едином
Биении сердца. Нет и ни следа в них,
В Афинах, от достоинств стародавних!

*...И новый смерч прошел над этим тленом.
О мать божья, стало еще плоше
Твоим Афинам, сделавшимся леном
Какого-то Оттона де ля Роша.
Он герцогом афинским и фиванским
Назвал себя, бургундец нечестивый,
Когда достались крестоносцам франкским
И Неопатры, и Коринф, и Фивы!*

Из Эдды Зимрока

СУМЕРКИ БОГОВ

На брата брат идет —
Отца единого
Потомство борется,
И узы кровные разорваны,
Неслыханная ложь сплетается,
Блуд небывалый совершается.
Век топора, пора меча,
Когда щиты трещат, ломаются.
Век волка, век ветра
Перед концом света.
И не жалеет ближний ближнего.
Вы знаете, что это значит?

В студеных струях
Дрожат, маячат
Клятвопреступники, убийцы тайные.
(И те, кто с женами чужими
перешептывались),
Сосет Нидгогр убийц убитых.
Вы знаете, что это значит?

...Чернеет солнце,
И в океане
Захлебывается земля.
Веселых звезд не терпит небо
Горит Всемирного кормильца
Всеобнимающее древо...
Вы знаете, что это значит?

Вальтер фон дер Фогельвейде

(1170(?)—1230)

ПОД ЛИПАМИ

Под липами
среди дубравы,
где отдыхали мы вдвоем,
рассыпаны
сухие травы,
цветы валяются кругом.
А на опушке средь ветвей —
тандарадей! — пел тихо соловей.

Растет
среди дубравы древо;
туда я к милому пришла;
смотрю — он ждет.
Святая дева!
Ах, как я счастлива была —
он целовал меня сто раз подряд —
тандарадей! — уста мои горят.

Ах, что за ложе —
прямо прелесть —
мой милый сделал из цветов,
и вы бы тоже

загляделись,
взглянув на нас из-за кустов, —
вы радовались бы от души —
тандарадей! — как розы хороши!

А все иное
чаша скрыла.
Поведать — боже сохрани! —
что там со мною
делал милый —
об этом знаем мы одни
да невеличка соловей,
но он не выдаст нас — тандарадей!

Вильям Шекспир

(1564—1616)

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Вей, зимний ветер, вей!
Хоть ты ни есть какой,
А не черней людской
Неблагодарности!

Вей, ветер, дуй, мети,
С ночных небес лети,
Переметай пути!

Вей, ветер, вей!
Какой ни есть злодей,
Не злее ты людей,
Не злей и не черствей!

Вей, ветер, вей!
Кусай по слепоте,
Хоть и подобен волку,
Но все ж не злей, чем те,
И все ж не столь остро,
Чем те, кто втихомолку
Злом платят за добро!

Вей, зимний ветер, вей!
Ты горбишь лоно вод,
Их превращаешь в лед,
Но все ж ты не подлей
И не страшней, чем тот,
Кто друга предает,
Кто друга продает,
Вей, ветер, вей!

Ян Кохановский

(1530—1584)

ПЕСНЯ XXIV

Пером отличнейшим владея, двуедину
Натуру обрета, поэт, я вас покину,
И поднимуся я тщеславия превыше,
И с небрежением взгляну оттоль на крыши

Шумливых городов. Рожден в тиши блаженной,
Как про меня ты рек, Мышковский
несравненный,
Не сгину, не умру! Поэта не захватит
В свои объятья Стикс, что мрачно воды катит.

Вот зашершавилась моих коленей кожа,
Макушка сморщилась и с лебединой схожа,
И перья новые возникли в изобилье,
И обожженные вновь отрастают крылья.

Икара превзойдя, увижу с высоты я
И Кирикейский Сырт и берега пустые
Босфора славного. И, музам посвященный,
Я, лебедь, углублюсь в Трионов мрак студеный.

Известен стану я Москве и басурманам
И света жителям иного англичанам,

Испанцу храброму, и немцам, и народу,
Который Тибра пьет глубокоструйну воду.

Похоронам пустым вы предадите тело,
И нечего рыдать: ведь птица улетела.
Колоколов и риз, да и свечного чада
И жалостных псалмов не надо мне, не надо!

Шебастьян Гневковский

(1770—1847)

БОГИНЯ МОДА

Мода, гордая богиня,
На колени пред тобой
Опускаются с мольбой
И служанки и княгини.
Даже и монахи ныне,
На словах с тобой борясь,
Блещут новизною ряс.

Храмы у тебя в столице;
Пребываешь там всегда,
Поклонением горда.
На тебя идут молиться
И матроны и девицы,
Жертвы многие неся
И о милости прося.

Шляпницы и швейки — это
Клир твоих монастырей,
А портной — архиерей;
Просят все его совета.
И звучит для бела света,
Как пророчество, твой глас
Что ни день и что ни час!

Все твоим дыханьем живо,
И кого отметишь ты,
Тот, как будто с высоты,
Смотрит важно, горделиво,
И лицо его спесиво,
Чтобы знали все вокруг,
Что твоей он славы друг.

Ты у дам в большом доверье,
Ибо дама ты сама;
К ним строга ты не весьма;
Здравый смысл гоня за двери,
Но тебе бесспорно веря,
Все они спешат в твой храм,
Чтоб тебя восславить там.

Вечно под свою охрану
Ты и щеголя берешь:
Глуп, зато собой хорош;
Чтоб ума прикрыть изъяны,
Придаешь ты блеск кафтану;
Вот и кажется, что он,
Этот франт, весьма умен.

Привередничая, хочешь
Старину, родную речь
Прочь в деревню, в глушь упечь.
Чешский наш язык порочишь!
Разве лучше ты лопочешь?
Лезешь всюду. Госпожой
Хочешь быть над всей страной!

Идолица! Тычась всюду,
Все достойные дела
Осмеяла б, коль могла!
Пустяков лелея груду,
Ты творишь из них причуду;
Превозносишь без стыда
Хлам, негодный никуда.

Вот ведь ты какая птица!
Сумасброден твой указ.
Думаешь: любой из нас
Должен пред тобой склониться
И игрушкой раздобыться
От тебя, чтоб стать потом
Сумасшедшим и рабом.

Злая! Скромниц оставляешь
Ты без свадебных венцов:
Легкомысленных юнцов
Ты на стыд и срам толкаешь
И потом предоставляешь
С займодавцами в борьбе
Гибнуть, дань воздав тебе.

Льстица! Как зеницу ока
Не один тебя берег,
Но не внес он дани в срок,
И, отвергнутый жестоко,
В бездну ввергнут он глубоко,
Черствая! Бросаешь их —
Почитателей своих!

Ветреная! Ты вчера лишь
Пышные чепцы ввела,
Похвалу им воздала —
Нынче гладенькие хвалишь,
А потом треух напялишь;
Нынче низких шляп я раб,
Завтра — власть высоких шляп!

Мудро старцы поступают,
Все старинное любя.
Гонят прочь они тебя
И поносят, и ругают.
Молодежь не понимает...
Тут и спорить ни к чему —
Каждый верен своему!

И напрасно сам ворчу я —
Жить нам трудно без тебя!
Наряжаться не любя,
Все ж, хочу иль не хочу я,
Дань всегда тебе плачу я,
Потому что как-никак
Не могу ходить я наг!

Но коль хочешь быть ценимой,
Сумасбродства позабуди,
В новшествах разумна будь,
Не гонись за славой мнимой,
Почитай свой край родимый,
Помогай его беречь,
Уважай родную речь.

Виктор Гюго

(1802—1885)

* * *

Ему двадцатый шел. Успел он погубить
И опоганить все, что можно полюбить.
Все обесцвечивал своим прикосновеньем.
В ночные логова к порочным наслажденьям
Он мимо темных стен проскальзывал, как тень.
И длились оргии. Горел он ночь и день.
И таял, словно воск, в который вьелось пламя.
И, лето скоротав, зимою вечерами
Он в Опере торчал, чтоб Моцарт или Глюк
Заполнили его бессмысленный досуг.
Не мог он заглянуть хотя б на миг единый
В стихию Шекспира, в Гомеровы глубины.
Не верил ни во что, не грезил ни о ком.
И пробуждался он, как засыпал, — с зевком.
Его ирония, бессильные нападки
Всему великому пытались вгрызться в пятки.
Себя он одного на свете признавал.
Любовь он покупал, а бога продавал.
Природу, океан, небесные светила
И все, что для души как ветер для ветрила,
Он сердцем сумрачным не мог воспринимать.
Он не любил полей. Ему постыла мать.

И вот хмельной, больной, безумный от безделья,
Без злобы, без любви и, как всегда, без цели,
Пресыщенный еще не наступившим днем,
Он вздумал — пистолет в тот вечер был при
нем! —

Закинуть душу ввысь к недостижимым странам,
Как в потолок буян швыряется стаканом.
Юнец, бессмысленно ты канул в смертный мрак,
И нам тебя не жаль. Коль гибнет сорный знак,
Кто ж плачет? Не тебя, ничтожного и злого,
Но жаль родительницу детища такого.
Воистину скорбим о женщине мы той,
Которая в своей покорности святой
Чело заботами о сыне омрачала:
Не колыбель твою, свой гроб она качала!

Не о тебе скорбим, но мы о том скорбим,
Что и поругано останется святым:
Дитя печальное, она в мансарде пела.
Ведь были чистыми душа ее и тело!
Как солнечный восход, сиял ты для нее.
Мечтала, поймана на золото твое,
Что голод позади, а счастье — под рукою.
И вот ее душа растоптана толпою.
О ваза бедная! Увяли все цветы;
Их аромат убил своим дыханьем ты!

Нет, нам не жаль тебя. Ты был ничтожной тенью,
Ты даже в счет не шел, ты не имел значенья,
Но имя честное ты погубил вконец.
Ведь старой гвардии отважный был боец
Отец покойный твой. И сон его спокойный

Нарушил ты своей кончиной непристойной.
Нам жаль твою родню, твоих покорных слуг,
Твоих приятелей, толпившихся вокруг
И ставивших на тень. Мы плачем над судьбою
Ввязавшихся в игру, связавшихся с тобою.
И пса домашнего нам жалко твоего —
Ведь он любил тебя, ты не любил его!

Гордец безрадостный! Бесплоден, бессердечен,
И жил бессильно ты и умер незамечен.
Бесплодно нашумев, наделав суеты,
В ночь, в одиночество, в ничто вернулся ты.
И ладно! С пира ты спесиво удалился,
Но факел ни один при этом не затмился;
Воды не всколыхнув, ты канул в водоем.
А век идет вперед в величии своем —
И вовсе не таков твой саркофаг убогий,
Чтоб встал кому-нибудь он поперек дороги.
Ну, хлопнул дверью ты. А что за ней нашел?
Хотел прославиться — в забвение ушел!

* * *

Конечно, эта смерть не может обесславить
Наш век. И ничего ей не дано убавить:
Взглянули искоса, забыли в тот же день.
Но вот слепая тень, самоубийства тень,
Унылый небосвод повсюду застигает
И под свое крыло все больше душ вмещает,
И гасит вопреки намереньям творца
Умы блестящие и пылкие сердца.

И вот Робер, чья кисть блистательно пылала,
С мятущейся души срывает покрывало
И до заката дня бросает свой бокал,
Который он всегда любовью наполнял.
И Кестльри, тот слепень, что жалил Бонапарта, —
Бритт, в коем смешаны и Карфаген и Спарта, —
Коварства исчерпав, по горло властью сыт,
Себя ввергает в смерть — она все разъяснит!
Альфонсу Раббу яд несет успокоенье.
Подобно загнанному дряхлому оленю,
Гро в воду кинулся, чтоб только не попасть
Рычащей зависти в разинутую пасть.
И от родителей дух гибели струится
К потомству, и семья готова развалиться.
И старики спешат уйти во мрак могил
От солнечного дня, что прежде так манил.
И мужи зрелые, и школьники все эти
С охапкой старых книг — прелестнейшие дети,
Но преждевременно созревшие, увь! —
В мечтаньях золотых превыше головы
Взлетают к небесам среди парижских зданий
И наземь падают с высот своих мечтаний
О славе, мужестве, свободе и любви.
Столкнувшись с обществом, лежат мертвы, в
крови.

И отпеваем их, и нас вопрос тревожит:
О, человечество торопится, быть может?
Сонм душ спешит куда? Куда стремится век?
И много ли нашел и понял человек?
Ведь вот они, лежат! Надежду схоронили,
Споткнулись о гроба и голову разбили,
Как будто скорлупу негодного яйца.

Где нет зародыша, не будет и птенца!
Рождаясь в муках, век все губит. В чем же дело?
Быть может, дело в том, что вера ослабела
И, где-то до пятам за разумом плетясь,
Она, как солнца диск, тускла в закатный час?
Наверное, живем мы, с богом не считаясь,
И давит мрак ночной, все более сгущаясь,
Там в тупиках сердец, куда бы ясность внес
Лишь яркий светоч твой, о Иисус Христос!
Не время ль морякам, борющимся с волнами,
Построить снова храм, склониться в этом храме?
Жалеть ли нам сейчас о мощных днях былых,
Когда и мертвецы считались за живых, —
Днях крепкой веры, дней, когда библейским
светом
Был ослеплен народ? Жалеть ли нам об этом?

Соображения неясные весьма,
Проблемы страшные! Вопросов этих тьма
Поэту на пути встает в ночных кварталах,
Когда встречает он прохожих запоздалых,
И нерешительностью полон каждый взор,
И появляется откуда-то дозор —
Выходят стражники, как призраки ночные,
Прощупывать углы глухие городские.

Шандор Петефи

(1823—1849)

1848

О звезда сорок восьмого года!
Ты, рассветная звезда народов!
Ночь, гонима утренней зарею,
Убегает с небосвода,
А за нею,
Пламеня,
День встает, и хмур и бешен,
Чтоб румянец, с гневом смешан,
Озарил бы после ночи
Человеческие очи!

Смерть тиранам! Стыдно быть нам в
рабстве!

Время праведному гневу!
Не с молитвой, а с кровавой жертвой
Обратимся нынче к небу!
Мы лежали,
Вы с ножами
К нам подкрались, но напрасно!
Жизнь народа не погасла.
У народа крови много,
Вопль его дойдет до бога!

Море в удивлении великом:
Твердь земная, что с тобою?
Почему вздымаешься валами
Величайшего прибоя?
Бури ярость,
Будто парус,
Вихрем в клочья разорвало,
И, безумен, у штурвала
Кормчий, будто гибнет тут он,
Рваным пурпуром опутан.

Нынче мир — сплошное поле битвы,
Все с оружием, все — солдаты!
Что топчу я? Порванные цепи!
Ха! Корона сломанная чья-то!
Эй, в огонь их!
Нет! Не тронь их!
Надо лишь на этой дряни
Начертать ее названье,
Чтобы знали наши дети,
Чем служили вещи эти.

Славный час! Свершилось по писанью:
Во едино стадо, львы и овцы!
Бог у нас один теперь — свобода!
Иноверцам умереть придется.
Пали старые
Святыни.
На руинах и в пустыне
Новый храм воздвигнем ныне.
Свод его — небес громада!
Солнце в нем, а не лампада!

Сватоплук Чех

(1846—1908)

ПОДЗЕМНЫЙ РОПОТ

Под грохот молота, шипенье пара,
Крик торгашей, скрипение пера,
В сумятице трудов и развлечений
Сегодня точно так же, как вчера,
Мы кружимся, работая, мечтая,
Но наступает все-таки пора,
И замолкает суета пустая,
И слышим, ужасаясь всей душой,
 Как, нарастая,
Тяжелый гул проходит под землей!

Под черными от древности гербами
Сверкает золото, и шелк шуршит;
Нарядный круг пирующих спесивцев
Охотой хвалится, и слуг бранит,
И дамам комплименты отпускает.
Но вот для тех, кто радостями сыт,
Постель свои объятья раскрывает;
Спят господа. И вдруг во тьме ночной
 Их пробуждает
Зловещий гул, растущий под землей.

Ученый муж проник упорным взором
В мир инфузорий, в звездный хоровод;
Сквозь лабиринт загадочных явлений
К жилищу правды он находит ход,
И ткет он крылья, на которых знанье
Нас на высоты жизни вознесет.
Но что-то отвлекло его вниманье,
Бледнеет он, и стал он сам не свой —
От созиданья
Отвлек его тот ропот под землей.

Храм красоты нас манит насладиться
Соперничеством кисти и резца;
Поет, как птица, и звенит каскадом
Мелодия, чаруя нам сердца;
Взор вдохновенный, как звезда, сверкает,
И благовест несется с уст певца.
Струна немеет, словно наплывает
Тень думы тягостной. И слух людской
Воспринимает
Лишь только гул, растущий под землей.

Кипит вражда владык, племен, империй,
Раздоры возникают там и тут,
И друг на друга две людские тучи
Под дикими знаменами встают.
Призывы их надменны и спесивы,
К насилью, к грабежу они зовут.
Но лишь остынут выжженные нивы,
Замолкнет вопль и барабанный бой,
Глухие взрывы
Вдруг зазвучат глубоко под землей.

ОТ ЭРА ДО ОКЕАНА

Из венгерских поэтов

Йожеф Леван

(1825—1918)

РЕВОЛЮЦИЯ

Попробуй удержи рукою
Мятущийся крылатый вихрь,
Морскому прикажи прибою,
Чтоб он улегся и затих,
Попробуй возрази народу,
Который, ощутив свободу,
Кричит, восторга не тая:
К оружию! Революция!

Оружием мы не богаты,
У многих нет его в руках!
Навстречу нам идут солдаты
С угрозой смерти на штыках.
Вставай, народ! Булыжным градом
По королевским бей отрядам!
Как гром, несется песнь твоя:
Сегодня Революция!

Идешь ты в ярости великой
Бороться за свое добро,
Которое твои владыки
Укрыли от тебя хитро!

Твоим владея виноградом,
Тебе вручают чашу с ядом.
Разбей ту чашу! В ней — змея!
Довольно! Революция!

Смотрите: грозовую тучей
Угрюмый движется народ!
Там нет начальства. Но могучий
Те толпы юноша ведет.
Взывает он: «Разрушьте, люди,
Дворец, в котором — злые судьи.
Бог проклял их, и вы, и я.
Сметет их Революция!

Они в своих законах пишут,
Порядок должен быть каков
Для бедняков, что еле дышат
Под ржавой тяжестью оков.
Довольно тешиться злодеям!
Законы их мы в прах развеем,
По ветру пустим их, друзья!
На то и Революция!»

На площади самим восстаньем
Костер огромный разожжен,
Там люди с диким ликованьем
Сжигают королевский трон.
Его сиянье нас не грело,
Ломайте, рушьте, жгите смело!
Не надо этого гнилья!
Свобода, Революция!

Ничто таким не остается.
Каким бывало в старину!
Народа сердце буйно бьется,
Народ не хочет быть в плену.
И в потрясенных залах тронных
На опрокинутых колоннах
Призыв небесный вижу я,
Читаю: Революция!

Вам не пора ль с народом-косарем
Поговорить? Ведь летний зной в разгаре!

В разгаре сенокос, в лугах сверканье кос,
Но это не для ваших дряблых рук...
А если весь народ — потомство Дёрдя Дожи —
В великой ярости на вас нахлынет вдруг?

Куда бежать вы броситесь из замка —
Разбойничьего вашего гнезда,
Когда придет народ и с громом все ворота
Захлопнет перед вами, господя?

СЛАДКО ДРЕМЛЕТ НИЩЕТА

Эльдорадо пьяных радостей,
Тише, злачные места!
Тсс! Не буйствуйте. Ведь в Уйпеште
На лохмотьях парня бедного
Задремала нищета.

Скорбный, фабрикой изглоданный,
Чахлым телом шевеля,
Весь в поту студеном, инистом,
Спит он сном святым и праведным,
Величавей короля.

Чистая приснилась женщина,
Чистая постель ее,
Деньги, пища, обеспеченность,

Чье-то теплое участие
И достоинство свое.

Будто нету кровохарканья,
Стало легче спину гнуть.
Значит, лет хотя бы на десять
Явку в царствие небесное
Можно будет оттянуть.

Эй, столица! На мгновение
Задержи бокал у рта.
Слушайте: там, где-то в Уйпеште,
Перед грозным пробуждением
Сладко дремлет нищета!

НА ОСЕННЕМ ЗНОЙНОМ ХОЛМЕ ЦВЕТОВ

Взволнован знойный холм цветов
Полдненным ливнем солнечным,
Осенний лепет лепестков
Я слушаю и слушаю.

Веселые пунцовые,
Сверкающие белые,
Ехидные лиловые
Кричат, болтают, шепчутся.

И мальвы, в едкой зелени,
Столь философски синие,
Нет-нет и бросят в цель они
Стрелу насмешки пламенной.

И лишь один молчит цветок —
То хризантема желтая.
Ее медлительный кивок
Великой полон гордостью.

Владычицею роковой
Стоит среди цветов она
С отяжеленной головой,
Прекрасная и скорбная.

СУДНО, КОТОРОЕ ПРОДАЕТСЯ

Продается судно!
Расшаталась мачта, перегнули снасти,
Словом — сколько хочешь всякого несчастья.

Продается судно!
Починить нетрудно — корпус все же прочен,
Хозяин измучен — надоело очень!

Продается судно!
Было это судно доброе, как видно;
Снова выйти в море на таком не стыдно!

Продается судно!
Сотни раз то судно море штурмовало,
В тысяче Вселенных судно побывало!

Продается судно!
Кто грехов прекрасных хочет безрассудно,
Тот, замороженный, и взойдет на судно!

Продается судно!
Видно, в путь отважный хочет оно снова,
Нового желает рулевого!

Продается судно!
Это судно годно в чудный путь до ада.
Продается судно хоть дороговато, а купить бы
надо!

ГОЛОС УЖАСА

Взвыл мой пес, паровозы скорбно скулят...
Ночи порядок таков у нас.
От размноженья зверей и солдат
Эта ночная взволнованность,
Ибо войска умножаются,
Ибо зверье размножается.

В ветхом лесу заохали
Мертвые воспоминания,
Ожило вновь и летит из земли
Мерзкое их верещание,
Ибо полунощный лес не пуст,
Ибо у ужаса тысяча уст.

О, ночи, звери, псы, поезда,
Наша судьба, и войска, и жизнь...
Честными были мы все, пока
Здесь воедино не собрались.

Но кто-то стегнул Вселенную,
Жестоко стегнул Вселенную.

И все отдельное вместе слилось,
И все-таки разрывается —
Звери, солдаты, пес, паровоз...
Но мрак в лесах сохраняется,
Великий страх сохраняется,
Все призраки сохраняются.

ПРОКЛЯТЬЕ НЫНЕШНЕГО ПРОРОКА

...И ниспровержен столь глубоко,
Что всех униженных я ниже,
Ощупываю сердце, нервы...
Где он, безумный жар пророка,
К тебе взывающий, о боже?
Проклятья, вижу, мертвы тоже!

Так в адскую впеклись мы серу,
Что нет уже бичей для гнева
И сил для обращения в веру.
И никогда еще былое
Не истребляли Азраилы
С такою ненавистью злою!

Мы даже о своих утратах
Утратили воспоминанья.
Полны оледенением смерти
Дела — остывшие мечтанья,

Мечты — остывшие деянья.
И пали ниже мы, чем черти.

О люди, отпрыски господни,
Вас ныне зверь стыдится дикий!
На зайцев сделались похожи
Пророки — робкие заики.
Лют ад, где. «Нет!» звучит все строже,
Но этого и дай нам, боже!

В ЮНЫХ СЕРДЦАХ

В юных сердцах и всегда вперед!
Хитрые старцы и злые глупцы,
Все вы на жизнь мою вышли в поход.
Знайте: у ней миллионы корней!

Быть властелином святых мятежей,
Вер и надежды способен лишь тот,
Кто, обливаясь кровью своей,
По-настоящему жил и любил.

Да, буду жить я и покорять
Именем горестной жизни большой.
Бранью и грязью меня не пронять —
Я под защитой юных сердец!

Вечная мне суждена весна,
Не нападайте на жизнь мою,
Словно святая гробница она;
Цвету живому не будет конца.

Атила Йожеф

(1905—1937)

ИЩЕМ ПРАВДУ ВНОВЬ И ВНОВЬ

До подмышек стерты ноги;
рыщем, свищем по дороге,
ходим, истину мы ищем,
только все же не отыщем.

Мы не нищи лишь умищем.
Шайки Авелей, мы рыщем,
и у нас не спрашивается,
что такое наши сердца —
мертвечина или нет;
чертовщина на уме,
но в ружьях божьих наши души,
ими он утесы рушит.

Коль зима — дрожим, но все же
мы не чувствуем и дрожи,
отмороженные уши,
да и взоры наши тоже
греем мы не перед печью,
а горячечною речью,
в зной для сна не ищем тени,
в кошельках одно хотенье.

Хлеб свой для себя — мы сами.
ни нужда не сладит с нами
и ни женщина. До нитки
проигравшись, мы — в прибыли.
Мы на север, юг идем,
где мы мокнем, там и дом,
нищете мы руки ждем,
дланиями срастаемся,
не грешим, не каемся,
никогда не голодаем,
хоть и голодны жестоко,
и повсюду прибываем
преждевременно, до срока.

Будущее на уста нам
взобралось, и долгожданным
миром грезим мы гуманным,
где свобода и любовь;
наши лица осяянны,
ходят ноги ураганом
по нехоженным дорогам,
по камням и по бурьянам.
Эй, гой, с песнями, с участием,
со словесным причастием
ищем правду вновь и вновь.

ЗДЕСЬ ВСЕ СТАРО

Здесь все старо, и вихрь здесь тоже дряхл,
кривую молнию влачит, как посох,

среди бородатых роз шиповолосых,
стремясь бежать на скверненьких ногах.

Все здесь старо. И Революция
среди бульжников, пригодных для метанья,
присела, кашляя. Горит у ней на длани
грош: это песня лучшая моя.

Что ж рук не просквозил мне старческий
склероз?
Тогда б, своих морщин ощупав разветвленья.
я уронил бы руки на колени
и все сказали бы, что льются капли слез.

О юность! Стала ты прекрасною золой.
Летучая прохладнейшая рыбка —
в сетях заката пламень скачет зыбко;
блеснет мой прах лягушечьей икрой.

ГОРЕ

И вот вошел я в лес и слышу: надо мною
колышется листва, как будто шелестят
листочки. Тяжело спокойствие земное.

И пальчики-сучки как будто бы хотят
вцепиться: «Нам вся власть!» И веточки сухие,
сухие веточки на голову летят.

Да, изгнан я сюда на краткое мгновенье.
Шуми, товарищ лес! Почти скриплю и я.
Нет, и не изгнан я, а это с мордой в пене

пес бешеный один бросался на меня.
И вот брожу в лесу, чтоб горю, словно тетке,
собрать, как хворост, тут все мужество мое.

Слезинка. Муравей пришел ее напиться,
но, размышляя, смотрится в нее,
и потому сейчас не может он трудиться...

НОЧЬ ЗИМЫ

Повинуйся!

Лето
Скрылось где-то.
Упорхнуло.
Гарью потянуло.
Кое-где на кочках — хлопья пепла.
Тихий край.
Здесь воздух колок.
Холод,
Как осколок,
Врезался в прорез дубовой ветки.
Славное безлюдье! Лишь вот эти
Тряпочки — обрывочки от платья,
Узкие серебряные ленты
На ветру в кустах упрямо вьются —
Ведь не счесть улыбок и объятий,
Что на сучьях мира остаются!

Дальние мозолистые горы,
Словно старцы, дрогнувшие пальцы
Простирают, чтоб заката пламя,
Мхов немое колебанье,
Пар над хуторами
И долин округлое молчанье
Удержат руками.
Земледелец тащится домой. Вглядеться
Всем он телом в землю эту тщится,
И лопата за плечом плетется,
Из нее как будто кровь сочится,
Будто бы из жизни он влачится,
Чтоб она над ним не тяготела...
И все больше тяжелеет тело.

Со своими звездами на небо —
В трубном дыме — ночь блистать взлетела.

Синей ночи кованные сроки
Возвещает колокол далекий,
Будто сердце — в вечности недвижно,
А другое что-то близко где-то,
Может быть, окрестность вся вот эта
Вместо сердца бьется.
Будто колокол — не что иное,
Как само морозное ночное,
Трепетное небо надо мною,
А язык — земля,
А сердце — голое!

Этот звон летит, в сознание врезан,
А зима кует, гремит железом,

Обивая двери небосвода,
Те, откуда нам валило лето
Свет, зерно, плоды и корнеплоды.
Ночь сияет, как людские мысли.
Вылита серебряным молчаньем,
Как замок, луна на мире виснет.

Ворон... Холод бездны пересек он.
Стынут крыши. Мгла замкнулась.

Столкновение молекул? Слышишь,

Никакой витрине магазинной
Не вместить сиянья ночи зимней!

Лезвие на стужу подымает
Ночь такая.
Вздых пустой и черный улетает,
И висит во мгле воронья стая.

Ночь зимы. По ней, по беспредельной,
Мчится ночью маленькой, отдельной,
Через пустыри товарный поезд.
В паровозном дыме этом кроясь,
Гаснут звезды, будто во мгновенной,
Бесконечно маленькой Вселенной,
На вагонных мерзлых гулких крышах
Блики света мечутся, как мыши.
Это — ночи зимнее сиянье.

Там, над городами,
Пар плывет клубами,

А по рельсам, по морозу голубому
Мчится к городу любому
Ночи желтое сиянье.
В городе, в упрямом свете ночи,
Цех открыла свой зима и точит
Колющий клинок страданья.

А на городской окраине,
Точно перегнившая солома,
Стелется мерцанье;
Там же в мелкой дрожи,
Человечек плечи ежит,

Хочет сжаться, как земля, в комочек,
Но зима ему оттопчет ноги все же,
Обязательно оттопчет.

Вижу: деревцо в полночном сквере,
Ржаволистое, трепещет.
Эту полночь зимнюю я мерю,
Как поместье
Помещик.

ТОВАРНОГО ПОРОЖНЯКА С ПУТЕЙ ЗАПАСНЫХ ЛЯЗГ УНЫЛЫЙ

Товарного порожняка
с путей запасных лязг унылый
оковывает слегка
края немые.

Луна, летящая легко,
как будто бы освободилась.

Раздробленные кремни
лежат на собственной тени
в своем же
блеске,
как никогда еще, они
лежат на месте.

Какой огромной тьмы ночной
ночь эта тяжкая осколок,
которая на нас упала,
как в пыль осколок минерала?

О солнечные мечты!
Коль тень твою примет ложе,
то в этой полной ночи
ты
будешь бодрствовать тоже.

ПРОЧЬ ОТСЮДА

Туда, где слов-заик не терпит высота,
отсюда прочь умчимся наконец.

Я даже звездам бы рассказывать не стал,
что убивает человек-творец.

Творец! А знали, что за существо
они, его творящие, творят?

По сути дел, смирение его
лишь воск дрянной поверх гремящих лат.

Благослови, Христос, наш меч и щит!
Летит лишь песнь, у мессы крыльев нет.

И злой слепец карает тех, кто мнит,
что видит свет! А кто же видел свет?

И все ж не умирает свет весны,
Хоть мгла осенняя играет эту роль.

Видать, хандрил отчаянно господь,
коль выхаркнул наш мир, отвратный столь!

ПОСЛЕДНИЙ БОЕЦ

Однажды душевной ночью был объят
фабричным дымом вялый запах глин,
и величайший дух вошел в меня:
я сын земли, и улицы я сын.

Отныне сердце — мощный алый цвет,
его цветением шар земной объят,
подобьем электромагнитных волн
его распространился аромат.

Отныне ни казарма, ни тюрьма,
ни церковь с гор не сбросят слов моих,

и все глаголы реют надо мной,
и нету смысла в замыслах других.

Когда я плачу — каплет мира кровь,
когда бранюсь — трепещет трон любой,
когда смеюсь я — радуется бог
и зимы вдруг сменяются весной.

В судьбу я верю; в сердце — наш господь,
ждет бесчудесных он чудес во всей красе;
лавины страсти, с наших лиц лиясь,
разрушат тюрьмы и казармы все.

И все огни грядущие — во мне,
чтоб я бойцом последним стал. Мой стяг —
прикосновенье ласковое. Все
в путь двинется, коль сделаю я шаг.

И шапку ликованья в небеса
Согбенный день взметнет, коль я один
и буду зеркалом у вас в сердцах,
я — сын земли, и улицы я сын!

Дюла Юхас

(1883—1937)

ФРУКТИДОР

В садах предместий песнь созрела эта
И двинулась в Париж, счастливый, полный
сил.

Марш мира нового, зачат он ночью был
И утром полетел навстречу свету.

Вот это песня! В ней сверканье стали.
Бьют барабаны, цепи рвутся в ней.
Напев несется в даль грядущих дней,
Чтоб от него века затрепетали.

Ведь эту песню жизнь и смерть поют
И, хмелью крови и огня зажженный,
Привет несется революционный.

От этих звуков тысячи умрут,
Но черпаешь в них силу для похода
Ты, сотни раз священная Свобода!

Я ЗНАЮ

Я не могу уже на вас сердиться,
о вы, разбойники и ростовщицы.

Дитя печальное, я скорбным взглядом
гляжу на ад: нет, не пугайте адом!

И вертоград заоблачного рая
за кровь и слезы нам сулят — я знаю!

Мечта, взметнувшись в девственные выси,
ты на колени шлюхи сесть стремишься.

И небо штурмовавшие герои
низвергнуты в вонючие помои.

И Ницше, трубадур сверхчеловека,
лишь размягченный мозг, глухой калека.

И на своем распятии извечном
Христос повис в бессилье бесконечном.

И даже жизнь — мгновенный промах, нами
допущенный. И смерть — не выход. Амен!

ДОМ

Дом рушится. Своею низкой крышей
Он никогда небес не штурмовал;
Стоял он неприметен для соседей,
Ветшающий, давно он отживал.
Но разрывают сердце мне удары.
Кирки и лома, ибо для меня
Старинный дом был юностью и детством,
Все краски жизни в сумраке храня.

О, сколько раз под этой низкой крышей
Вздymались голова моя и песнь.
Здесь снились сны мне, здесь война гудела,
И революция гремела здесь.
Здесь обитал я, старичок ребенок,
Здесь вырос я во взрослое дитя,
Здесь я, юнец, который не был молод,
Ждал торжества. И много дней спустя
Глядел здесь, как покинутый любовник,
В привольное грядущее, чтоб там
В награду за неладное былое
Увидеть явь подстать своим мечтам.

Я бодрствовал над этими мечтами,
Как тонущего судна командир,
Который в брезжущих лучах рассвета
Желанный берег видит впереди.
О зори новые! Я слышу: гнутся балки,
Звенит кирка, тарану вторит лом,
Чтоб над мечтой, борьбой и неудачей
Взамен руин возник мой новый дом.

НАДГРОБЬЕ, 1919

Снова весна. Над Эндре Ади
Цветут нарциссы, розы, левкои.
Всходит под солнцем его души мятежной
Твой урожай, грядущее золотое!

Быть может, лучше его печальному сердцу
Быть плодоносной силой в земном лоне,

Чем разрываться в тоске безмолвий
От тупоумия дурных венгерцев.

Ибо песня, надежда и новые битвы —
Все это было здесь слишком рано,
Слишком рано мы стали бороться и
плакать,
И поэтому ранняя ждет нас могила.

Снова весна. Бихарские горы
Не отвечают на песню Ади.
Пасынков-сыновой прислали
К нам из Африки берега Сены.

Снова весна. И пусть так и будет —
Пусть цветут женщины, сирень, радость.
Только жаркое сердце Эндре Ади
Покрыто — о горе — землей прохладной.

И ВСЕ-ТАКИ...

О, как летает человек —
Не крылышки Икара за плечами!
Вниз на простор полей и рек
Доверчивыми смотрит он очами.

Доступной стала вышина,
Даль дальнюю — подать рукою.
Машина заведена,
Гуденьем славит торжество людское.

Приветствую вас, храбрецов,
Счастливых, весело идущих
На зов небес, на мощный зов
Загадок древних, тайн грядущих.

И, над могилами кружась,
Как жизнь прекрасна, чуешь в этом тленье,
Пусть даже суждено упасть
Не вырвавшись из завихренья!

РАДИОГРАММА

О братья! Добрый люд!
Лишь общие усилия нас спасут.

Соратники! И пленники темниц!
Пред милосердием падите ниц.

Вы, побежденные! И вы, кто победил!
Лишь в Справедливости ищите новых сил.

О верующие! Весь мир в крови!
О скептики! Спасение в любви!

Борцы! Мечтатели! Нам всем дано,
Дано нам сердце скорбное одно.

О братья! Добрый люд
Довольно убивать. Объяты нас зовут!

Миклош Радноти

(1909—1944)

ПОЭТ

Поэт, я никому не нужен больше тут.
Мурлычу я без слов. К чему они? Поверьте:
Что надобно напеть, вам в уши напоют
Прелюбознательные черти!

И подозренья осторожный взор
Меня казнит; он правильно заметил:
Поэт, я годен только на костер
За то, что правды я свидетель.

За то, что знаю я, что зелен стебелек,
Бел снег, и красен мак, и кровь, красна,
струится,
И буду я убит за то, что: не жесток,
И потому, что сам я не убийца!

Я СУЩЕСТВУЮ

В бешеном небе померк лунный серп.
Я жив! Удивительное дело!

Шарит повсюду усердная смерть,
Бледнеют те, кого задела.

Ведь, если вспять обернется год, —
Взвизгнет он, теряя сознание:
Страшная осень по следу ползет,
Скорбно тупеет зима от страдания.

Кровоточил здесь времени вихрь,
Кровоточили деревья вот эти;
Шифр из огромных темнеющих цифр
Выцарапывал на снегу ветер.

Все мне понятно — цифры и письмена.
Грозным мне кажется предупреждением
Полная шорохов тепловатая тишина,
Будто бы перед моим рождением.

Я останавливаюсь у ствола.
Дерево сердится. Если могла бы
Эта вот ветвь, так сейчас бы за горло взяла,
Но я не трусливый. Нет, я не слабый!

Только устал я. Молчу. У моей головы
Шарит робкая веточка, волосы перебирая...
Мне бы хотелось забыться. Увы,
Не забывал ни о чем никогда я!

Гнев натянул на луну пелену,
Темно-зеленую и густую.
Пенится небо. А я сигарету сверну
Тихо и тщательно. Я существую!

ПЯТНИЦА

Апрель, как сумасшедший,
И солнца не видать.
Неделю пил вино я,
Чтоб трезво рассуждать.

Апрель, как сумасшедший,
Покоя не дает.
Один писатель пишет,
Отчизну продает.

Апрель, как сумасшедший,
Снег валит без конца...
Иные удирают,
Но лопнут их сердца!

Апрель, как сумасшедший,
Метельно, как зимой:
Пошли гулять три друга
И не пришли домой.

Апрель, как сумасшедший,
Холодный ливень льет.
И друг мой впал в безумье,
Людей не узнает.

Апрель, как сумасшедший,
Могуч разлив речной.
...Второй мой друг пристрелен
Вот эту весной.

А третий арестован.
Я зря его ищу...
Цветы мои померзли...
Смеяться я хочу.

Все знаю! Берегитесь!
За всех я отомщу!

Антал Гидаш

(р. в 1899 г.)

УДЕЛ ПОЭТА

Вновь не решился бы начать я этот путь,
да и напрасно бы стучать я начал в грудь,
крича, что молодец, что стар еще не стал...
Ведь если у меня еще не согнут стан,
то где же все-таки в придачу взять к нему
и неизраненное сердце? Где возьму
такое сердце, что могло бы вновь
размеренными порциями кровь
по телу рассылать? А иначе нельзя
вещать, что не страшна прекрасная стезя,
которую и вновь я живо обегу,
сменяя на бегу жарошцу на пургу.
Нет! Не начну я вновь, мне этого не вынести.
Ведь, скажем, даже дуб, как я, так лет
шестидесяти,
хоть и по-прежнему стоит на высоте,
но все же краски у него не те
и старой кроной он не может так
шуметь и привлекать, как молодой дубняк.
Два поколения на плечах несу (хоть это
и незаметно вам). Но все ж удел поэта —
быть как сама земля, обильем урожая
за зерна взятые с лихвой вознаграждая,

* * *

Смотри, как благостен осенний небосвод!

(Я смерти перестал бояться.)

На мне вечерний шелк, голубизна высот,
блестящий этот плащ, где звезды серебрятся.

Встань под него и ты. Пойдем.

Теперь уж можем мы не сомневаться
в бессмертии своем.

ПОСЛЕ ВОЛНЕНИЙ

Отпусти меня, громадное августовское небо,
о скажи мне: уйди, бесследно исчезни!
Надо мною звездное запрокинутое море
о вечном покое поет песни.

Я лежал во глубине времен, в бездне,
но на миг меня подбросило течение страсти,
тряхануло солнце, трепанул ветер,
когда я взглянул на берег, на мир, на сети,
на снасти.

Отпусти меня, громадное августовское небо,
пусть я уйду, исчезну бесследно.
Надо мною звездное запрокинутое море
волнуется медленно,
бескрайно,
победно.

ДИАЛОГ ВЛЮБЛЕННОЙ ПАРЫ

Юноша

Милая, твои уста —
сладкий терем. Заперта
алая, коралловая дверь его;
узники жемчужные — зубки в этом тереме.

Девушка

Дверь приотвори,
засверкают эти узники, как союзники твои.

Юноша

Вот и блещут!

Девушка

Эту дверь
ты открыл, а что теперь?

Юноша

Путь свободный впереди тебя!

Девушка

Но боюсь освободителя!

Юноша

Буду нежным.

Девушка

Без насилья?
Слабый нежным быть не в силе!

Юноша
Поцелую!

Девушка
Но легонько —
не хочу я плакать горько.

Юноша
Обниму!

Девушка
Повремени!

Юноша
Погодить?

Девушка
Но не тяни!

.

Юноша
А теперь, как я взгляну,
так и сам уже в плену!

Девушка
Что случилось? Кто в ответе?

Юноша
Не пойму. Попался в сети!

Девушка
Кто же узник, кто же стража?

Юноша
Я и сам не знаю даже!

Девушка
Как же быть? О господи!
Я ж просила: подожди!

Юноша
А теперь, как я взгляну,
так и сам уже в плену!

Девушка
Лунный свет, снежный зной...

Юноша
Час не легкий, ландыш мой!

В ОГНЕ БЛИЖАЩЕЙСЯ ДАЛИ

I. Тридцать лет назад

«На днях приеду...» Что ни слово — луч!
Въявь отмыкает телеграфный ключ
даль времени! Нетерпеливо жду я,
чтоб прямо с корнем так и мог рвануть
тебя к себе, до взрыва молодую!

Миг ускользящий, продлись! Преграды
нет!

Теряет разум не один поэт,
но реки тоже: Дон, Дунай и Драва,
освободившись ото льда,
готовы
разметаться величаво!

И будто вьявь, тебя уже целуя,
в упор с бессмертьем повстречаюсь я.
(О, нет державы более великой!)
Вот почему в такой тревоге дикой
мечусь я, лишь подумая: моя!

II. Ныне

А это уж
декабрьское сиянье —
преклонный возраст, —
но и в этот срок
ты для меня сияешь столь лучисто,
что иногда
обыденное чувство
бежит,
как сброшенный с престола Рок.

Ведь и теперь,
творя
мятежными руками,
кончаю я с последними узлами
и, проникая в смуглые круги,
кипень лавы огневой

я выдыхаю
кратерами Этны,
заросшими,
покрытыми травой,
как будто бы и вовсе незаметны
годов лавины, что готовы рухнуть,
нависшие над самой головой.

О, как заколебалось все на свете!

Обрывы эти, эта высота
не краткая экскурсия в бессмертье —
здесь пахнет вечностью:
невыразима та
пронизывающая меня усталость
и размягчение,
когда твердят уста
все вновь и вновь:
«ты», «ты», «ты — мой». «Ты мой».

А это ведь уже декабрьское сиянье,
сиянье, порожденное зимой.

III. А почему?

А потому,
что страсть моя
такая лава,
что не в могилу рушится,
а ввысь течет.
Чем ближе к гибели,

тем величавей
она
вскипает
отрицаньем смерти,
чтоб замереть
на высоте
высот.

Но,
чтобы перед тем,
зардевшись на прощанье,
не ощущая боли никакой,
с высот достигнутых взглянуть уже не
только
на этот слишком уж знакомый край
земной,
столь часто на деревья нацеплявший
луну невинную — особенно весной, —
а бросить взгляд в Галактику, что
мчится,
как будто бы ничтожная частица
какой-то сверхгалактики иной.

Вот это блеск!

Подай пример соседям,
все беспримерное осуществи,
не к смерти,
а к бессмертью призови,
к сиянию растущему все больше
и возвышающемуся
до любви!

И ВСЕ-ТАКИ

Стакан с вином сверкает мне
и говорит, лукав,
в мертвящей этой тишине:
— До дна допей, взалкав!
Ракетой, пущенной к луне,
твоя промчалась жизнь!

— Ну что же! — яростно кричу
я, расплескав вино. —
Подобно зыбкому лучу,
а только все равно,
о дни, к которым мы рвались,
по вас я долечу!

Дюла Ийеш

(р. в 1902 г.)

МЕДВЕДЬ

Весна мою голову кружит,
Баюкает и тревожит.
В глаза мне вешнее солнце,
Гипнотизируя, льется,
И вкуса морской водицы
В окошко ветер струится.
Дремал бы и ночь и день я.
Но далеки сновиденья,
Я и ленив и взволнован,
Я встал бы, пошел, но — скован.

Побыть одному бы где-то,
Но одиночество это
Как камень висит надо мною,
Тюремной встает стеною.
Я думаю: тот умнее,
Кто спит, как зверь, где темнее.
И, словно медведь в берлоге,
Проспит позорные сроки.
И если лес — мое тело,
То сердце мое влетело
В кусты артерий, как птица,

В тени оно там таится.
Спасись в сновидения хочет.
С ним вместе — рот, уши, очи,
Чтоб в сонном прошло покое
То время. А время какое?

Остр запах фиалок. Мчит он,
Как будто кровью напитан,
Земли и лугов дыханье,
Подобно кровавой ране,
И мерзостно засмердела
Канавы, как мертвое тело.

Кровь, кровь... И дыханье сперло,
Как будто бы кровь из горла,
Как будто бы кровь из носа,
Куда ты ни повернешься —
Сквозь кровь этот мир в тебя льется.

И смерть я ношу сегодня
В себе, как слово господне,
В предвидении ужасном
Того, что грядущее даст нам.
Пророчил бы, но напрасно,
Лишь «смерть» произнес бы ясно.

Захоронюсь я глубоко,
Чтоб мне не бросали упрека,
Что был я бессильный свидетель
Творившегося на свете.

Писали мне уже десятки раз:
«Вот если б сочинил ты стих, или рассказ,

Или в трагедии, волнующей до слез,
Но только, Дюла, все ж затронь ты тот
вопрос:

Дороги нам нужны, но пуще всех- дорог
Нам электрический давно уж нужен ток,

Его уж года три сулит нам комитат.
Повсюду провели... Сюда лишь не спешат.

Пусть в пользу людям прозвучит твой стих».
Гляжу на бывших соучеников своих

И слышу: «Напиши!» Несутся голоса:
«Пусть солнышко взойдет!», «Зажгутся
небеса!»

Им безразлично — в рифму это будь
Или без рифмы. Суть важна им, суть!

Лишь шестьдесят столбов им было бы дано —
Не больше! Грезят девушки: «Кино!»

Так напиши, чтоб нашим голосам
Неукоснительно внял даже Сексард сам!

ПЛАМЕННЫЙ ВЕТЕР

Из югославских поэтов

Отон Жупанчич

(1878—1949)

ВЫШИВКА

Вся растрепана,
в прах затоптана
вышивка чудная, вязь цветная.

Я тайком ее подымаю,
слезами ее омываю,
с тоской сворачиваю,
за пазуху прячу ее,
ею обогреваюсь,
плачу, смеюсь,
ее ласкаю и утешаюсь,
что до грядущего с ней доберусь.

О страна ты моя родная!

В ДНИ ТЯЖКИЕ

Тих над горами занавес
златой;
ты — позади за той чертой,

мечтою о тебе я одурманиваюсь
в дни тяжкие —
чужбина ведь не мать.

О, заглянуть бы за зарю сверкающую
и что-то доброе тебе, ласкающее
в дни тяжкие,
о родина, сказать.

ОТЧАЯНЬЕ

Мутно,
трудно
льются воды,
как без русла,
как без дна,
баламутно
и паскудно
здесь,
где в плевелах
земля.

Пена,
гнилостна
и тленна,
мусором оплетена,
жухнет,
пухнет
и смятенно
мечется
туда-сюда.

Ни
просвета
в этих водах,
без ответа
дол и холм.
Зелен,
к месяцу,
как плесень,
тянется
мертвец
из волн.

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА

Отче наш...
если был бы ты и вправду отче наш,
ты теперь бы разорвал свои ладони
и сошел бы ты с распятия,
чтоб детей своих убогих взять в объятья,
отче наш.

Отче наш —
он теперь на Висле иль на Дрине;
ведь и сами мы не знаем где;
у него простреленное сердце,
у него проколотые руки,
обнимает нас он через горы,
отче наш.

DIES IRAE

Дом
всколыхнул свой огромный звон,
будто горюет над городом бог;
переполохом колоколов
мечется в окнах и бьется в нишах,
крыльями встряхивает на крышах,
ужасом черным беснуется в душах,
давит и душит,
гонит юнца и ловчится добраться
мрачной рукою до сердца старца.

И перед каждым лицом встает
немилостивое зеркало,
чтоб ничто тебе не помогало
о днях своих дать отчет.

Взвихриваются смерчами
в черную тучу среди душевной мглы
ангелы, блистая мечами,
змеи, орлы и крылатые лвы и волы.
Седые послушники, лысые пророки
мертвые головы свои как святыни прижимают
к сердцам,
и с рыданьем блаженным строгие ноги
женщины лобызают святым отцам.

Хорами небесными небосклон заслоняется
гуще и гуще.
Каждый как памятник, в вечность
вколоченный величаво;

распушенные в славе, как павлиний хвост,
в неподвижном круге застыли
святые мужи в византийском стиле,
взор у каждого буравяще кругл и остр,
и клонится к земле все живущее,
как под солнцем палящим поникшие травы.

Слышите: мчатся всадники с горных троп!
Мир вокруг, как барабанная шкура, упруг.
И копыт барабанная дробь
все сильнее,
все неустанней.
Сухотелье всадники с горных трон
к нам грядут сотворить наказание!
И земля, обрушиваясь, коленопреклонилась,
падает ниц, расшибается в прах.
«В жаре пожаров приди к нам, Милость, —
стужа у нас и в мозгу и в сердцах, —
чтоб души и плоть наши испепелились,
испепелились и освободились
в огненных, Милость, твоих венцах!»

Милость приходит в громе органом,
в трубы трубит она, в колокола бьет.
Милость плывет, Милость ревет:
«Знаменье, спеши на четырех ветрах по всем
странам!
Знаменье, мчись от глубин до высот!»

Ангелы путь указывают мечами пламенными
туда и сюда, вдоль, поперек.

И из тучи крылатого мечущегося зверья
выплывают четыре реки, и на каждой
вздывается пенный порог.

И, на небе горя,
над землю и родом людским появляется
крестное знаменье.

Мирослав Крлежа

(р. в 1893 г.)

ПЕТРУШКА И ПОВЕШЕННЫЕ

Повешено три поганца, три вора, три оборванца...
Керемпух черный бродяга от виселицы —
ни шага!

Эй, потаскухи, внимайте, блудницы —
клейм кренделями припечены ваши лица —
Керемпух, барсук кайкавский, честь имеет
к вам обратиться!

Все это, видно, глумятся черти,
чтоб человека огнем жечь до смерти.
На сковородке — смотреть жутко —
человек поджаривается, как утка!
Вот истязанье!
А четвертованье? Семь раз в неделю
на то наказание мы глядели.

О шествие нищих, голодных и босых,
Сеченых, клейменных, гнусавых, безносых!
Вот сигнум жидовский: желтая метка!
А вот — кобыла. Вот графская клетка!
В ней лихо вы пляшете танец кандалный,
многострадальный,

а я, Петрушка, певец печальный,
под виселицей и повесил
свою тамбуру. Ах, не весел
напев керемпуховских песен!
Но день придет — поверьте, люди, —
под косу смерти лягут судьи.
Они позабудут кричать нам: «Сигнаре
кум ферро!» И больше уж запахом гари
с костров не повеет. Имею я веру:
услышат и судьи: «Сигнаре кум ферро!»

Судейские перья смерть вырвет! И я вам,
Керемпух, скажу: унесет еще дьявол
епископа в пекло! Пойдут туда графы
и бары!.. О подати полные шкафы!
Кровавый платок Вероники — в рубцах наша кожа!
Но трубит,
в трубу свою трубит товарищ крестьянин по имени
Матиас Губец!

Розги, крюк, четвертованье,
угли, дыба, петли, плети,
пламень, как из ада...
И еще какие надо все другие истязанья,
все другие смерти.
В башне замка, в графской клетке лютые парады.
За голову нашу рабью танец без пощады,
уж поверьте мне, поверьте — не звучало даже
в пекле этакой баллады.
Коли голоден и бос я, если красть мне надо —
я-то знаю, куда лягу и на что я сяду.

Под бичом трепещем, наги! Вывернуты руки, ноги...
И в петле-то вам, бедняги, передышки нет,
бродяги.

Не мечтал господь об этом благе,
чтоб епископы, как попугай,
возле виселиц болтали, призывая
нас благословить свои вериги.
Сказано: если кто козу украл, тот вор,
приведет пострадавшему вола на двор.
Вот приговор! Но о чем разговор?
Кто имеет вола, тот не станет красть коз!
Кто имеет вола, у того — полный воз!

Зашипит под клеймом только тот, кто и гол и бос!
Мол, украл кусок хлеба — повесят за шею
и вздернут под самое небо,
чтоб, как памятник правде, висел
и качался в петле бы!
А чтоб снял с себя преступник тяжесть
смертного греха —
пусть отдаст он свой живот для органа на меха.
Просверлите ему око, чтобы стал слепой мешок он!
К хвосту кобылы привяжите и по городу влачите
мимо оков!

Иродовы розги, жгучие бичи!
Как рыба на суше, нищий, трепещи!
Чье под серным пламенем личико морщится?
Хорошо испеченная ведьмочка там корчится!
А епископ в своем плювиале дамастовом
по-латыни намекает голосом ласковым:
мол, в молитвеннике старом есть премудрые слова,
что за нищего в ответе беднякова голова!

О вы, грамотеи славные, коварные,
наши гуманисты прегуманитарные.
О грабанцияши, вы, студенты наши,
некроманты наши,
псалом по панихиде эти речи ваши —
это яд змеиный в гефсиманской чаше!
Ведьмы на могильщике мчатся, хохоча,
Гробовщик с доносчиком кличут палача...

Тот, кто на ветру не вывернет плаща,
будет этим ветром погашен, как свеча!

СЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Две скалы. Три утеса, крутых и могучих,
крепость купола, вросшая в глубь небосвода.
Щебет ласточек около громоотвода —
только ласточек щебет на кручах могучих!

И такая прозрачность... И в струях пахучих
эти шарики яблоч из медного меда.
Где-то очень далёко гроза, непогода,
гром, как отзвуки бубна. Бой в тучах...

Здесь же... Здесь не найдешь наслаждений ты
лучших,
чем на мирной скамейке присесть возле входа
и в немой меланхолии грезить про детство
в полумраке церковном, где звук без ответа.

То акустика гроба, могилы соседство,
свечи мертвые, книги истлевшие... Бог? Бога нету!
Овцы блеют на паперти где-то...

ПЛАМЕННЫЙ ВЕТЕР

Однажды забрезжит кровавый рассвет долгожданный,
однажды засвищет пылающий ветер багряный
— однажды, однажды! —
домчит он до той пирамиды погибших бойцов-домобранов,
и вновь вспыхнет пламя над каждой раной.

От страшного сотрясения
рассыплются символы, растают проклятья, развеются
все фимиамы
трагедий, комедий, трактиров и храмов,
публичных домов, лазаретов, бедламов
— однажды, однажды! —
гнев тюрем, и звон колокольный, и шелест знамен,
и оркестры — все вместе
сольются в единой пылающей песне,
тот пламенный ветер восславят знамена
священную песней хаоса, огня и эонов.
О улица,
пусть бы ты встала
алым гребнем кровавого вала!
Проклят пеан злата,
и хотя еще шелк, шоколад и женское тело не потеряли
своего аромата,
голово бога, как вора, вешать несут куда-то.
О улица,

нынче ты встала
алым гребнем кровавого вала!
Голос ветра рычащий услышу в тот день я
над пирамидой бойцов-домобранов, погибших в сраженьи.
Дотянется алое пламя до черных знамен языками,
окошечки мертвенно-бледных домов загорятся, как дикие
очи,
и огненный дождь будет литься,
и с неба он будет валиться
на крыш городских раскаленные кручи...
И вырастет все разрушающий ритм:
Горит, горит!
Горит шар земной! Горит!
И в том хороводе рабов, королей, ветра, мусора,
сладогостья,
женщин, пушек, трамваев, волов, лошадей, картечи,
в лютом циклоне огня и крови, где пылает Свободы
счастье,
где Лжи божество, будто солнце святое, само себя
в воздухе крутит и вертит,
раздастся, как стон,
победительный хохот
ее величества Смерти!

ПАМЯТИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА

О Великое Безголовое Нечто, будь ты проклято вечно!
Вновь гноятся ладони людские — это раны на них
гвоздевые,
и опять погребальную песню захрипели птицы слепые,
тьмы зловещие птицы — совы.

О Великое Безголовое Нечто, будь ты проклято снова
и снова!

Встарь, толпу лжебогов разогнавши сурово,
принял крест Человеческий Сын.
Переместились кресты голгофского цирка
из гнилой Иудеи в имперский Берлин.

При кровавом тюремном мерцаньи шуцманской лампы,
что ты можешь, хорват, поделать?
Остается одно хорвату — глотать свои горькие слезы!
Солоны слезы те.

Сохранится ли белым
оплеванный, голый идеал твой, распятый
навек на кресте?
При кровавом тюремном мерцаньи шуцманской лампы,
что ты можешь, хорват, поделать,
если длится Европы Страстная Пятница,
если Сын Человеческий вздернут на крест,
если жгут ему раны и кожу дерут,
если пули летят и проклятья камнями катятся?
Длится, тянется Европы Страстная Пятница!
Содрогается шар кровавый — Земля —
от Капштадта до Пекина, от Рима до стен Кремля.
При мерцаньи заупокойной лампы
пьет за тризной хорват и печально поет:
вот еще одна голова, как кровавое семечко, с плеч
слетает!

К мачте вновь пригвожден адмирал!

Но смотри:
рассветает.
Интернационал.

Миле Клопчич

(р. в 1905 г.)

ЛОВИМ БУРЮ

(Написано в фашистском лагере военнопленных)

1

Да, мы в плену: врезаются все резче
колючки проволоки в наши очи,
чужой и резкий говор все жесточе,
все реже мы родные слышим речи.

Мир потерял нас, будто не вернемся
с печальных берегов, да нам еще велели,
чтоб миру мы хвалу за это пели,
встречая вал, в котором захлебнемся.

На острове потерянных — вот где мы.
И одиночество все одиноче,
и все страшнее страхи с каждой ночью,
все чаще тонем по ночам в воде мы.

2

Да, мы пловцы в беде, островитяне:
мы лишь по звездам страны света знаем,
и лишь по солнцу дни свои считаем,
и видим только вихри в океане.

Мы моряки в беде, островитяне...
А знают моряки, что час настанет —
примчится буря, паруса натянет!
И где-то громоздятся в ожиданье

родные горы наши, исполины,
ждут виноградники на солнечных их склонах,
жилища белые среди садов зеленых,
леса, луга и мирные долины.

Вот для чего мы в парус ловим ветер —
чтоб опустело заточенье это!
Нам путь укажут бури. Бури эти
разбудят колокол родимый для привета!

Десанка Максимович

(р. в 1898 г.)

ВЕСНА, А Я УВЯДАЮ

Трав пожаром зеленым
пышут дальние дали,
а я увядаю.

Солнце над небосклоном
примулы увидали,
а я увядаю.

Небо в цветочной пене,
сад над земными садами,
а я увядаю.

Птичка работает клювом,
гнездышко создавая,
а я увядаю.

Руки твои как бутоны,
девушка молодая,
а я увядаю.

Жизнь, что ни миг, то иная,
нового ожидая,
а я увядаю.

ОПАСНАЯ ИГРА

Помнишь ли: ножи сверкали острые
и втыкались в стену деревянную
вкруг живой мишени на ярмарке,
а мишень не трусила ни чуточки,
ибо верила, что ни единое
острие не смеет поразить ее!

Помнишь ли: рука с ножами
дрогнула
и в живую грудь нож острый вклинился
так, что в стену воткнутые ножики
дрогнули от страха и волнения.

Помнишь ли: и мы с тобой затеяли
эти игры с лезвиями острыми;
у стены стояла я спокойная,
ибо верила, что ни единое
лезвие не смеет поразить меня!

Помнишь: не твое ли сердце
дрогнуло
оттого, что я была спокойная,
и в живую грудь нож острый вклинился
так, что в стену воткнутые ножики
дрогнули от страха и волнения.

ЛЕД ТВОЕ СЕРДЦЕ БЫСТРО СКОВЫВАЕТ

На северном полюсе твоего сердца льдистые
стынут десять певцов дроздов — моих вестников;
на северном полюсе твоего сердца мглистые
бродят весны мои, за тобой увязавшиеся.

На северном полюсе твоего сердца вымерзли
крыжовники моих снов;
в стаи горлиц из чистого льда превращаются
славословья мои тебе.

Лед твое сердце быстро сковывает,
льдины плывут до экваториальных широт;
только в полночь и слышатся крики
простуженные
птиц, что слетают с моих плеч.

ЗМЕЯ

Из-под сухого покоса
змея выползает,
а на лугу ни цветочка
не цветет;
несколько тучек на небе,
птичий полет.
Солнце сияет.

Чья по тропинке песня —
кто ее знает!
Чей это шум одинокий
путается среди трав!
Слушает, голову в воздух
чутко подняв.
Солнце сияет.

Здесь ее мать порешили
острой косою;
подкараулят и дочку
между кустов,
тут и сгниет оболочка,
блещущая росой
разных цветов.

Эта змея уже больше
солнце в себя не впитает,
и безвозвратно исчезнет
птиц этих лёт,
и никогда уже больше
этот цветок не взойдет.
Солнце сияет.

ПОГОНЯ

Бегу как снежным лесом, как от волка...
Она же, как и все, чьи руки долги,
пока что прилегла и задремала,

не опасаясь, видимо, нисколько,
что я могу за поворотом скрыться,
в лесу среди деревьев затеряться.

Она мне беззаботно позволяет
поставить парус и уплыть в заречье
и с круч прибрежных взглядом провожает,
ни дать ни взять, как страж вооруженный,
что с жалостью на пленника взирает.

Весной, когда боярышник цветущий
рождает облака благоуханья,
она и мне позволит вместе с лесом
блеснуть одним-другим цветочком белым
и — стоит лишь подать дроздам свой голос —
к ним позволяет присоединиться.

Преследует меня неторопливо,
как все, уверенные в своем успехе:
мол, и сама сойду с дороги ложной,
и, зная, что живу на белом хлебе,
мне ночью оставляет у дороги
все то, что так любила я когда-то,
чего, как прежде, жажду и сейчас.

Радован Зогович

(р. в 1907 г.)

ИНСТРУКЦИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИХТИОЛОГАМ, ЗАПИСАВШИМ ГОЛОСА РЫБ

Внемлите голосу рыб, записывайте его, творите открытья
все глубже — в лазурном, лазорево-черном и черном, где
нету ни вёдра, ни ветра, ни зыбей.
Прослушайте бездну морскую, стихии морские. Внемлите!
Я, человек, рыбоведом охотнее буду, чем рыбой.

Пусть все стены обрушатся на своих слухачей. Пусть
кресла выбрасывают их, топча тотчас же
своими короткими ножками, чтоб из праха восстать
слухачи не могли бы.
А вы внимайте голосу рыб, выпрядайте его из воды, как
пряжу.
Я, человек, рыбоводом охотнее буду, чем рыбой.

Дайте голос молнии океана, ибо когда она его режет, то
все же светит.
Каракатице дайте голос: просыпаясь и ежась, способна ль
промолвить что-либо?

Как величают друг дружку рыбы? Как они друг дружку
предупреждают: «Ловцы! Сети!»
Я, человек, рыболовом охотнее буду, чем рыбой.

Слушайте рыб, пожирающих травы морские и
вылавливающих искорки соли,
слушайте, что кукуруза морская твердит водогрезающей
рыбе, когда, колосясь, встает дыбом.
Дайте возгласы рыб, ощущающих рост свой и приступы
боли.
Я, человек, рыбоведом охотнее буду, чем рыбой.

Усовершенствуйте микрофоны! Пусть они будут
чувствительнее, чем дятел,
чующий через кору, как скрытый ею червяк подтачивает
ее в глубине там.
Выслушивайте стволы, ловите жучков-короедов, чтоб
древеса вековали сиятельней.
Я, человек, жуковедом охотнее буду я, нежели жуком-
короедом.

Оставьте людям их толки, их перешептывания, их
ш-ш-епот.
Если кто скажет, что абиссинский кофе не настоящий, —
так ли много важности в этом!
Выслеживайте паразитов, таких, что суставы и ткани
древесные лопают.
Я, человек, жуколовом охотнее буду я, нежели жуком-
короедом.

СРЕДИ ЕВРОПЫ

*Из чешских и словацких
поэтов*

Иржи Волькер

(1900—1924)

ПУТНИК ГОВОРИТ

Люблю звезды
за то, что похожи на дорожные камни;
коль ходил бы по небу босыми ногами
я о них бы ноги поранил.

Люблю дорожные камни,
потому что на звезды они похожи.
Путь от вечера до утра мне
они освещают.

МОСТОВАЯ

Мостовая организовала демонстрацию —
восставая над городскими черепицами,
оглушила улицу знамен тысячами
с человеческими затоптанными лицами.

Выперла за город на простор,
с васильками и грибками уселась за стол:
каждый камень растет и растет,

Не унывая,
налево ты, направо я,
своей дорогой разойдемся:
и у тебя, и у меня
с собою будут небо и земля;
земля — шарообразная планета, —
и ты и я прекрасно знаем это, —
ее мы за год обойдем всю.

Но если в городе простишься с кем-нибудь,
так ты о встрече с ним навеки позабудь.

Здесь тьма пивных
для обуянных жаждой,
и философия своя есть в каждой,
торчком насажен мир на башни головой.
Его не сдвинет и городовой.

И ПОТОМУ...

И потому, что грустен столь
был путь мой в сумерках, и долог,
и на пути Тоска и Боль
свой бледный распростерли полог, —
всегда мечтаю.

И потому что каждый час
дождь за окном скулил все жутче,
и потому, что столько раз
смотрел я безнадежно в тучи, —
теперь я верю.

И потому, что тень в ночи
не раз ждала меня с кинжалом,
болезнь брала меня в клещи,
горячка в пылких лапах жала, —
здоров я буду!

И потому, что, ниц упав,
я научился подыматься
и разучился улыбаться,
я, обольщаться перестав, —
дойду до цели!

НОЧЬ

Звезды вольные в небе спокойно
горят
наподобие мирных лампад.

На земле же
заключены
звезды людские в четыре стены:
привокзальные светы, окошки тракторов,
сторожки в лесу,
и у каждой звезды по цепному псу,
чтоб несчастные не сбежали
от хозяина прочь
в край, где день веселее
и спокойнее ночь,
чтобы ты, путешественник, если нет-нет

все ж перельется в глаза твои свет,
не пришел, не украл солонину, дукат,
грушу или жену!

Звезды вольные в небе спокойно
пылают
и о помощи не взывают —
она не нужна им!

Так добудем свободу для этих несчастных
звезд земных
и уьем псов цепных,
что на нас устремляются с лаем.

Чтобы мир на земле воцарился,
как в ночных
небесах!

МОРЕ

Над берегом острова Крка, где камень седой
громоздится,
Шесть дней я разыскивал море, увидел я только
птицу,—
Своим трепеща опереньем, она целый день взлетала,
А к ночи на блещущий месяц садилась устало,
Лила серебряные песни с небес на прибрежные камни;
Над берегом острова Крка вещала она по ночам мне
О том, что она, эта птица, и есть бирюзовое море,
И можно по белому свету скитаться, будто по полю,

И, чтобы увидеть все это, и чтобы виденья не окрылись,
Достаточно одного лишь, чтобы только глаза опьянились.

Над берегом окна отеля медленно раскрывались,
Мечтательные девицы в каждом окне появлялись,
И грезила каждая дева каким-нибудь собственным морем,
Творила его и топила в своем же болезненном взоре,
Для коего звезды, и зори, и блеск голубого неба
Тускнели бутылкой молочной взамен насущного хлеба.
Все эти моря распознал я, увидел все эти глаза я;
Чужим и слепым я остался, виденьям не доверяя;
И было мне мало и пены и дремлющего прибоя —
Мечтал я о большем гораздо: что вправду оно голубое,
Реальное море, такое, что морем всегда остается
И вечно валами прибоя о скалы Далмации бьется.
У берега острова Крка, на пляже, где птицы кричали,
Шесть дней я разыскивал море, блуждая в печали,
Но моря не находил я... И в том — целомудрие мира,
Что, кроясь от рук слабосильных, могилу себе он вырыл,
И в гроб размалеванный скрылся, меж пестрых кулис
затаился,
И редкость — священная местность, где вновь бы
живым он явился.

Но грянул звон колокольный. Пришло наконец
воскресенье —
Я, пьяница, будто бы выпал из собственных глаз, как
виденье.
Шесть дней я разыскивал море, нашел — на седьмой
его день я!

И, будто не гость курортный, а щедрый, веселый
рабочий,
Весь день я по городу шлялся, а в час наступления
ночи
В предместье у самого мола, в веселом приморском
трактире,
Увидел вокруг себя море доподлиннейшее в мире,
Когда за столом дубовым взглянул я, друзья, в лицо
вам —
Матросам, рабочим порта, и лодочникам, и рыболовам —
Вам, люди, вам, обладатели тугих кулаков узловатых,
Вам, ветры и бури таящим в тельняшках своих
полосатых,
Вам, труженикам неустанным, вам, солнце носящим во
взоре,
Вам, людям, что море творите и сами — творение моря!
Шарманка, хриплая птица, пой, милая, песню мне
снова,
Как будто бы здесь танцуют моря всего шара земного,
И в сердце этого танца, счастливец, я принят вами!
Мозолями полнятся руки, как ветви деревьев плодами.
Я — море! Матрос и рыбак я, я — лодочник вольный,
я — грузчик!
На тысяче пароходов моряк я, по морю плывущий!
Не парю рук, а мильоном работаю я на просторе!
Не парю рук, а мильоном творю я бурное море!
Играй! Ты мне всех милее, шарманка — хриплая птица!
Мир — те, кто дает ему пищу, чтоб жить и самим
кормиться,
А море — это мы сами, чьи мускулы ходят волнами.
И явственней нету яви, чем явь, творимая нами!

Константин Библ

(1898—1951)

ЗВЕЗДА

Ты видишь, милая, как я тебя люблю:
ты на груди моей весенний первоцветик.
Открой окно, найди звезду свою,
звезду мою. Она с небес нам светит?

Над черной грушей, где звезда лучилась,
нет от нее там даже и следа.
Быть может, наземь пала и разбилась
моя звезда, твоя звезда.

Но ведь звезда — мечта, а стало быть, и
вечность,
она не может мертвой быть,
среди нас она сияет, чтоб беречь нас,
чтоб мы могли и дальше жить.

Да и не только мы, нет, милая, не только!
Всем страждущим сияет та звезда.
Спроси слепца, бредущего в потемках:
«Ее ты видишь?» Он ответит: «Да!»

ВЕЧЕР У МОРЯ

Одни мы лежим у моря.
Лишь месяц, сошедший с гор,
стоит в воде
по колено.

Любить никогда не устану
прищуренных глаз твоих взор
и хрупкость стана.

Лишь ты между морем и небом
простерлась обетованной
Землей, по которой
идут мои руки и губы
путем бесконечным.

СТРОФЫ

В часах
что ни мгновенье —
людских сердец биенье.

Часы сломаю:
Время, стой!

Оно идет
своей стезей, своей стезей!

В часах
что ни мгновенье —
революции приближенье,

Часы разбейте:
Время, стой!

Оно идет
своей стезей, своей стезей!

ДВЕНАДЦАТАЯ ПЕСНЯ

Мы уж к смерти приобвыкли —
с нами ходит и толкует,
на свое садится место за столом...

Часто мы с ней смеялись:
с нами тащится в путь дальний!
Тащим лампу, тащим заступ,
а она — лишь только косу!

Желтым черепом, как лампой,
освещала наши тризны,
но от времени, от угля
стало черным все лицо.

Мы ее уж не боимся,
коль черна она, как уголь,
мы ее уж не боимся,
коль черна она, как мы.

ТРИНАДЦАТАЯ ПЕСНЯ

Солнце светит, как и прежде,
но ослепли два окна.

Опрокинулось авто.

Перед нами пулемет,
зубы лязгают от стужи,
а за нами — наши вдовы
и негромкий плач сирот.

Вместе с нами только хаты,
и кирпичные заводы,
и в каменоломнях дыры,
и крошится из окошка
огнецвет фуксинно-красный.

Витезслав Незвал

(1900—1958)

МОРЕ

Неотдыхающее море,
о, что тебе мое горе
и что тебе судьба товарищей!
Что это горе против боры, и день и ночь
тебя вздымающей?

Да и когда шторма пройдут, когда спокойно
ты, глубоко...
Взлетают птицы, бродит добрый люд,
и ты свой воспеваешь труд.
Рыдающее, голубое и ясновидящее око,
неотдыхающее море,
о, что тебе мое горе!

Вскипающее величаво,
о море, что тебе мое горе!
Как вулканическая лава,
вскипающее величаво,
привет мой дивотворной флоре
ты передай. Как с ногтя лак
смывает женщина, вот так во мрак
мои ты звезды смыло. Реет птаха,

а ты молчишь. За плуг берется пахарь...
Вскипающее величаво,
о море, что тебе мое горе!

Ты, шелковая страница,
о море, что тебе мое горе,
и разве можно в жизни усомниться!
О море, ты вселенной голубица,
с лазурным сочетавшаяся небом.
Летает птица. Человек жив хлебом —
невольник твой и господин.
О море, влей мне в грудь всю мощь твоих
глубин!

Ты, шелковая страница,
о море, что тебе мое горе!

В вечерних мглах табачных и туманных
о море, что тебе мое горе.
В Антибе ты, в Монако, в Ницце, в Канне,
в хрустальном и дымящемся уборе,
когда немеет в нас по ближнему тоска...
Людские странствия. Взлет птах под облака...
Я на тебе, луной изборожденном,
пишу стихи. И взором восхищенным
я на тебя взираю, как юнец
на женщину. Вот счастье наконец
в вечерних мглах табачных и туманных...
О море, что тебе мое горе!

О море, море, жизнь стремится,
и что тебе мое горе...
Я говорю, что жизнь стремится,

взойдя из тишины, в нее же возвратиться,
как твой прибой и как былинок рост.
И смерть ей не предел; ведь света звезд
и твой не может переспорить свет.
И человек хотел бы жить да жить, но нет —
уходит он быстрее, чем утренние зори...
О море, море, что тебе мое горе!

НОЧИ

Ночь опрокинула золотой свой улей над вертоградми
вечеров,
над ателье, над соборными башнями черными,
над порфирными дамбами и мглою дворов,
где огромнейших пушек чугунов от луны каменел.
В звоне окон, во вздохах дворцов, на решетчатых дверцах
капелл
геральдический прах весь трепещущий плыл, как
солнце, несомое на погребальных носилках.
Из стократнофонарных уступов домов темный гул изливали
рояли,
и процессии белых монашек в цветущих лианах пропали.
Колокольчик заколотился и сонно затих;
я не видел всех этих красот, но вслепую я чувствовал их,
как лунатик, который покачивается над океанами вод,
пробираясь по крышам, где блещет громоотвод
и взрываются время от времени розы ослепительнее
гранат.
Над гондолами венецианскими, над горностаем Гренад,
за густейшим выпрыском масел, замутивших стекольный
блеск,

за дождем резеды сухоцвета с их пыльцой, наподобие
звезд,
чуял я без хорала на арфе и без звона к обедне ранней
эти очи, что полны рефлекса, будто трещины в колчедане.

Этой ночи навстречу я вышел, как бродяга, за свой страх
и риск
и засыпать себя позволил этой массой звездных искр.
Ночь вызванивала тропически, будто грань бесплодных
стран,
ночь гробов без барабанного боя, ночь — пустой караван.

Кто затмил свет в садах и сиянье над городами,
кто над ложем невесты разжег багряное пламя,
на дерне перекрестка кто заставил вить пса,
кто виною, что этот панический хаос и ужас везде
начался,
кто вздымал сноп на сноп и кому так трагически грезится,
кто магически кровью наполнил рог месяца,
кто лампаду черную вылил, а синюю лампу берет,
кто за черною занавеской свое miserere поет?

Ах, это ты, моя призрачная, трижды темная ночь, моя
набалъзамированная любовница фруктово-сочная,
тень зари, галопом убитая, окровавленный ночной мотылек,
падаль, при свете месяца терзающая свой бок.
Торчит в моих дневных грезах твоих бородавок гашиш,
твой голос, разбитый эхом, вздуваешь ты и сочишь.
О лютия смерти в оркестре звездных лучей,
тебя приставили Немезиды, как сестру, к колыбели моей.

Как истеричная женщина, танцует по крышам сон мой,
и снова Бетховена вызванивает звон похоронный,
и, как будто бы женщина в любовном томлени,
валится в обморок тихое мое бденье.

Ах, засыпает, но даже и в снах
все ж летит оно вдаль на золотых стременах
в ярко-красные прерии в край Лотофагов
и в сады из коралла, туда, в землю магов.

Ночь золотой опрокинула улей над вертоградами вечеров,
над ателье, над соборными башнями черными, над мглою
дворов.

Звезды тряслись тропически, будто грань беспощадных
стран,
ночь гробов без барабанного боя, ночь — пустой караван.

БАТАВСКАЯ СЛЕЗА

В помощь Титанику, прежде, чем грянет хорал
последний,
и василькам и селеньям, прежде, чем стать им ничем,
в помощь ребенку и розе, в помощь флейтисту и
флейте
было это на Радунице в двенадцатом году...

Провинция украшает оконца сухими венцами,
озаренными снизу трепетом свеч;
в маленькой лавочке старого торговца
тянутся к жизни чемоданы и коробки.

Но, кроме розовых свечек, окутанных кружевами,
кроме розовых ленточек и образков,
и, похожих на требники пряников черствых,
и ракет, и цепей, что на елках висят,
и бенгальских огней, и искусственных лилий, —
там дрожала и маленькая батавская слеза.

Маленькая, батавская... Юное поколение,
которое не знает плугов и скоро не будет знать
ни лошадей, ни ветряных мельниц,
поколение, осмеявшее сказки о богатырях
и легенды о нищих и другие смешные преданья, —
это поколение не знает батавской слезы.

Юное поколение не знает, что значат слезы,
Например — человека, которому грозит голодная смерть,
или — матери, ставшей под старость в тягость детям,
или больного, умирающего без врача.
Это юное поколение знает только умильные слезы
для утехи, как в песнях и в повестях о любви,
и не знает батавской слезы, как не знает и много
иного
из того, что лишь только поэзия может хранить для
людей.

Маленькая батавская слезка, слеза из стекла, игрушка...
Тронь ее за верхушку — и расплывется слеза,
разорвется, как бомба, рассыплется и исчезнет
эта слезка батавская сама по себе...
Это было в августе сорок пятого года.
Прага в розах тонула и в пламени алых знамен.
Снова чешская речь, заключенные вышли из тюрем.

На Петршине, на Летной, над Градом — трепещущий
флаг,
и танцуют под сладкую музыку женщины в шелковых
платьях,
и в лесу обнаружен и схвачен последний чудовищный
волкодав;
дымный привкус войны розоватым мороженым изгнан —
а на город японский батавская пала слеза!

Десять лет — нет, уж больше — падает этот фантом
батавский,
выросло поколение, знающее хорошо
это страшилище, про которое ходят толки,
будто сотрет оно весь мир в порошок.
Нет! Так не будет в угоду горстке
тех, кто охотно бы превратил
Землю в развалины Атлантиды,
Землю, где крутятся оси машин,
вихри пропеллеров, крылья мельниц,
Землю, наследницу древних культур и скульптур,
Землю, замены для коей еще человек не имеет,
Землю, где пестрядь колибри и где холодок анемон,
Землю, где пала Бастилия и непременно
все остальные Бастилии тоже падут!
Люди, мужи, подымайтесь, чтоб стать в оборону
против создателей новой и страшной батавской слезы!

Маленькая батавская слезка, слеза из стекла, игрушка,
тронь ее за верхушку, и расплывется слеза,
разорвется, как бомба, рассыплется и исчезнет
эта слезка батавская, исчезнет сама по себе.
Маленькая, батавская... она была нам на радость,

Человек, преображающий в этом мире все, —
преобразивший и Нил и Сахару,
преобразивший болота в блестящие портовые города
и варварские шатры в стеклянные небоскребы,
розу в лекарство, раба труда —
человекомашину — в настоящего человека,
достойно защищающего свои права, —
преобразил и батавскую слезку...

Шлю вам привет, города, над которыми не клубится
дым,
новые города в садах, с аэродромами на высотных
террасах,
откуда плавно, как птица, возносится ввысь человек,
как волшебник, который взлетает на крыльях,
будто ангел, для коего птичье крыло
не наивная выдумка. Сбудутся мифы!
Человечество их и создало лишь только затем, чтоб
сбылись!

А уж если воистину так, люди, будет —
с миллионами отважных героев мира
становитесь в единый строй!

Близится август, мерцает Кассиопея
над ресторанными крышами, где танцы и джаз,
первый шаг на песочке отважно пытаются сделать
младенцы,
швейная машина грохочет, дабы подчеркнуть
торжество.

Как шампанское, пенясь, взрываются розы,
а у мощных машин, генераторов завтрашних дней,

а на крыше святого Микулаша
голуби воркуют над тобой;
Прага, возносящаяся на фонарях,
верь мне: жить хочу, куда ты сама
не превратишься в прах.

Черные застрехи,
даже ржавчина — и та черна.
Люблю Чехию,
какой есть она,
с привычками дурными,
со злословьем, с продувными
перекупщиками с Кампы
и со старыми мостами, где старые лампы.

Ты прелестна
в час, когда проходят облака,
а порою ты как «Юмореска»
Антонина Дворжака.
Дождиком исходишь то и дело,
в непогодь одетая,
диво каменное, старая ты дева,
Нерудой воспетая.

Прага, пани
с бумазейным клином,
опущу тебе любовное посланье
я в почтовый ящик под Петршином.

Хрупкая девуся
с касатиков лепных,
песьим гроздом вьются

усы дворцов твоих.
Расскажи, который
из дворцов любила всех сильнее,
разгребая перед ними горы
снега безнадежности своей!

Прага, Прага, ах, немало
бедовать тебе пришлось —
вражья длань рвала твои кораллы,
вырывала волосы из кос,
и твоим же гребнем кровянила
голову твою, твоё чело,
и ремнями беспощадно била, —
много крови утекло.

Я люблю тебя, дитя беспутное,
вечно алчущее и несытое,
мутную
Влтавой неумытое;
жизни ты своей была не рада,
порывалась с голода и горя
броситься с обрыва Вышеграда
либо с моста кинуться в Подгорье.

Прага, Прага, за твоё здоровье я стакан свой
разобью!
Что ни день тебя я поджидаю, будто
нареченную свою.

Кость сквозь кожу
кажешь из карнизов ты кой-где,
но за будущность твою уж не тревожусь,

не боюсь, что снова быть беде:
уж теперь пластаться ты не станешь
под пятой у иноземцев с Града,
не завянешь
ты, моя отрада,
Прага, Прага, понимаешь: никогда уж
за немилото пришьельца не выдадут замуж.

Столь внимательно глядящая
вокруг.
Через Карлов мост ходи почаще,
хоть для этого и надо сделать крюк,
да не забывай и переулки,
по которым вы с поэтом ходите, —
ах, не откажись с ним от прогулки
за город хоть раз на пароходике!

Прага, едущий до Бравика тобой
залюбуется, как щукой голубой.

У купален
ты — великое сплетенье наготы;
те, кто вешний твой наряд видали
или видели, как ты,
вся зардевшись, утром к ванне
шествуешь во всей своей красе, —
от тебя в очарованье
все!

Девичьи твои порывы
простодушны: ты то тут, то там,
словно жеребенок игривый,
пробегаешь по своим мостам;

только все же
иногда
замирают от морозной дрожи
гребни башен и вода.

Ты, ракушка,
где улитка не гнездится,
прикрываешь
ягодицы
шкурою медвежьей иль иною
королевской рухлядью пушною,
лежа
у Чертовки в ложе.

Тело
у тебя как гладь
эбена.
Смирно сядь, гребнем волосы пригладь;
раздувая ноздри, будь степенна,
будь, как пагода, ленива,
а не то ведь солнце живо
может насмерть забодать.

Знавшая мучений тысячи,
трепетавшая в клещах,
привередливая в пище,
утопаешь ты в дождях,
с бормотанием слезливым
причитающих
над разливом
галерей твоих ветшающих,

Прага, Прага беспорочная, добродетельно-
беспечная,
и бесстыжая, и нежная, о любовь ты наша
вечная!

За невыполнимое берусь
в кратком очерке сгустить тебя дерзая,
то и дело пробуя на вкус...
Ты как чистокровная борзая,
ты сама свой сгусток, свой экстракт.
ты и клад и охранитель клада,
мать, возлюбленная и сестра
и невыразимая услада.

И ни с кем не можешь ты сравниться:
ты не венка и не парижанка!
Разве можно с чем сравнить твои косицы!
И на языке твоя медянка
стынет яро,
как электроток.
Мать моих привычек старых,
мне знаком твой каждый уголок.

Аметистовая
и яшмой покрыта
ты, листву каштанов перелистывая,
так глядишь с тобой подписанных открыток,
что не знаю ничего на свете краше
и дрожу, задетый за живое,
малахитовым сверканьем башен,
куполов небесной синевою.

После воскресения
Христова
на два, на три дня, никак не мене,
оживают снова
под полдненным душем стены, крыши,
стекла окон;
и, когда я из Петришина вышел
и внизу дрожала ты потоком,

Я остановился,
очарован
городом, который зародился
из камней и стародавних бревен.

По нагретым грудям я б тебя погладил
крутобокою, в расцвете, в теле.
Солнце, твой настройщик, ловко все наладил!
Буду петь я Прагу на святой неделе.

Иржи Тауфер

(р. в 1911 г.)

ПОХИЩЕНИЕ РАВНОДУШИЯ

В июне 1939 года исчезла из Лувра
знаменитая картина Ватто
«Равнодушный».

Так была начата великая эвакуация
равнодушия с этой планеты.

Раньше еще, чем заговорили ружья,
Раньше еще, чем первая бомба упала на детский приют
в Варшаве.

Раньше еще,
чем желтый бык пожара перелистал своим
языком брюссельскую библиотеку.

Раньше еще, чем затрясся Роттердам,
раньше еще, чем марш потомков Большой Берты
разбил вдребезги окна Нотр-Дам.

Раньше, чем вспенились от бешенства
норвежские фиорды,
раньше, чем термит растерзал рембрандтовские краски,
раньше, чем восстали сербские горы
с пулеметными лентами эха вокруг скал.

Тогда, в июне, сгинул образ равнодушного арлекина,
мимо которого столь много лет проходили люди, как
проходят мимо прикрытых зеркал.
Так исчезают мало-помалу все равнодушные
меж людьми.
Так исчезают из старых семейных альбомов
фотографии тех, кто прошел 1914 годом, как широко
распахнутыми дверьми безумия.

Так исчезают птицы перед ураганом.

Так пробуждается спящий Неаполь
рядом с вулканом
Везувием.

В ЗАМОРЬЕ

Степь — дно морское.

Море снова вернулось на кромку этих земель.
Сколько дней, километров и лет
мы прошли?

Вспоминанья о Доне и Волге во мне зашумели,
как море.

Гул прибоя в ракушках вечен.
Иногда такова эта боль,
будто ножка босая ребенка ступила на камешек,
острый, словно жестянка.

Чего же мне жалко? Только
того, что сокрыто, ищу.
Рукавом протираю око,
как с брам-стеньги глядящий на волны моряк.

Здесь когда-то свой якорь
я отдал глубоко-глубоко
и теперь уж не вытащу.

Было время, когда мужчины здесь пили воду из следов
танка.

Но моя поэзия кладет пальчик мне на уста.
Все неустанный
все кругом говорит, и только устам моим не дано
разомкнуться.

Как ножевые раны, зарастают иные воспоминания,
зарастают воспоминания
и остаются.

Только новое поколение машет непоранным кулачком
из зыбки.

Но, однако, ничто не изгладит такую
старую затянувшуюся ранку —

ни пожатия многих рук,
ни улыбки,

ни даже поцелуи.

ТИШИНА И ГРАММОФОННАЯ ПЛАСТИНКА

Шляюсь в степи.
Купавы, полынь, ковыль,
суслик свистнул.

Волк тут,
может быть, ночью выл.

О лесе,
о вереске,
о ромашках
мысль на уме.

Легкий диск граммофонной пластинки
ударил по клавишам невидимого рояля,
и в далекой степной глубине запела Кармен.

Это как удивительная обмолвка,
как внезапная встреча,
как блокнот с надписью
«Поэзия» рядом с кнутом, луковицей и спичками
на прилавке где-нибудь в деревенской лавочке.

Это подобно усевшейся на погон простой полевой
бабочке.

И опять тишина.
Длинная,
голубовато-серая,
будто ключ в нестерпимо блестящем замке.

ДОНСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Русая степь, чистой росой устилающая себе дорогу,
опоясанная туманом,
около вод блуждает на босу ногу.

Утро, держа в охапке целый лучок пешеходных
тропинок,
для будущих пионерских новогодних елок
треплет пряжу стеклянную паутинок.

Травы на ящерках — как обрезки
из разноцветного станиоля.
Трещотки дурмана
потрескивают.

Луж
стеклобитная лиловель —
будто чернила, разлитые густо
учениками, глядящими с колхозного моста,

как дикие гуси рисуют в лазури

русское «л».

Штефан Жарый

(р. в 1918 г.)

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

Полночь.

Спит как будто все на свете.

В зеркало задумчиво взглянул я.

Где я взял

глаза косые эти,

Эти круто выпуклые скулы?

Как кинжал,

повис вопрос неожиданный.

В мыслях — тропики, тайга, степные тропы.

Как возник

вот этот облик странный

в мирной полосе среди Европы?

Что за чужестранец я?

И где вы,

прошлого свидетели немые?

Предки,

расскажите мне, в чем дело,

от кого черты мои такие?

От отца?
Он кумысом, быть может,
увлажнял уста во время оно,
славный воин.
Вот и я в него же,
может быть, такой настороженный?

Или в мать я?
Может быть, праmaterь,
связана крутым степным законом.
древле
к этим странам на закате
по степям брела за строем конным?

Не поведают
о старых ранах
письмена, для разума сокрыты.
От кого они?
В каких курганах
завещанья прашуров зарыты?

Вдруг из мрака
клычья засверкают,
волки за углом завоют где-то?
Это о себе напоминают
божества,
забытые обеты.

Не с туретчины ль
забрел мой предок-странник,
может быть, оливками торгуя,
может быть, какой-нибудь жестянщик.

вместе с женкой
в общину чужую?

Или же,
когда над полем брани
здесь скрестились крест и полумесяц,
походя
наильник басурманин
жизнь мне дал у этих перелесиц?

Жизнь
возводит помышлений мостик;
в борозду чужую семя пало
или бурями
землицы горсти
из далекой Азии примчало?

И напрасно
я взываю к предкам —
мертв свидетель главный, погребен он!
Но, блуждая
по аллее предков,
вижу праотцев я легионы.

Не сочту я,
сколько кровных братьев
и сестер имею я повсюду.
Так зачем же,
так с какой же стати
палачом родне я кровной буду!

ВЫ, ЛЮДИ БУДУЩЕГО ВЕКА

Вы, люди будущего века,
чьи образы, как гребни гор высоких,
я мысленно ищу на ощупь,
не будьте горды и надменны!

Не будьте горды
мудростью своею,
надменны красотой своей не будьте,
покуда хоть один из миллиарда
не сможет имя написать свое
и будет хоть один из миллиарда
в грязи влачиться.

Вы из команды той ракеты первой,
что лобызнет пустынный кратер Марса,
с приветствием неситесь голубиным,
с оливковой веткой,
а не смертным
лучом губительным,
что мечет гелий.

Сын будущего
с новым представленьем
о красоте — с яснейшей головою,
за счет пищеварения и секса
сверхмерно развитой, — владыкой будет мира.

Но горе,
если будет он без сердца,
кусочка мышц вот этого, который

горит, как пламень,
этот пламень страсти,
которым человек к земле припаян.

ДАЙТЕ НА ДЫХАНЬЕ ПРАВО

Между выдохом и вдохом —
смерть.
Лишь сделаю я выдох,
снова воздух я хватаю,
чтоб коварная меня
не схватила смерть.

Сейчас
воздух чист,
дышать им можно,
но, когда он загрязнен,
как тритонами колодец,
не способен я дышать.

Я дыханье задержу
на смертельном рубеже,
но не как ловец жемчужин,
занырнувший в глубину,
а затем, чтоб оттянуть
смерть.

Смерть — одна лишь.
Я же знаю
две. И я предпочитаю

ту, классическую, старую
от изношенности тела,
а не новую, которую
в виде достижения техники
нам сулит распад ядра.

И ребенку и теленку
на дыханье дайте право,
не мешайте
ассимилировать травам.
Все, что способно на ассимиляцию,
любит жизнь,
не хочет с ней расстаться.

Если я дышу — живу!
Но не это человеком делает по существу,
а сознание, к чему я стремлюсь.
и когда пойму — к чему,
то, естественно, со смертью я борюсь!

НА ПОЛЯХ РОДНОГО СЛОВОПОЛЯ

Из польских поэтов

Станислав Ришард Добровольский

(р. в 1907 г.)

* * *

О Дон Кихот, тебе лишь то знакомо:
под тополями у дороги польской
на шапках крыш растрепана солома,
разбиты гнезда,
птицы улетели.

Тракт.
Хмурый конь
бредет по жиже скользкой.
Уныние!

Но слышишь шепот мельниц,
биенье колокольчиков овечьих,
зов соловья — изгнанника в пустыне...
О музыка,
звучащая так сладко,
родимый наполняющая край,
играй!

Вот путь далекий
сквозь октябрьский иней,
сквозь листопады, через суховеи,
сквозь непогоду, в сумраке туманном,
по колее, где столбики белеют, —
я говорю — вот путь за Дульциней,
которой не увидеть никогда нам!

Юзеф Чехович

(1903—1939)

ТРАУРНАЯ МОЛИТВА

Не чуя дна, цветок цветет —
мы это знаем.

Вот схлынет зорь огнистый лед —
и засыпаем.

Весною вновь ударит гром,
на юность нив нагрянет с неба,
наполнит небо медью гнева,
разбудит снова тихий дом.

Оно подстерегает нас —
небытие, чтоб меркли чувства,
чтоб в зеркале, где свет погас,
все стало пусто.

Пусть так! Но все-таки, пока
я жив, — тоска меня не сгложет!
Меня насилия рука
связать не может.

Я этот узел разрублю!
Хочу, чтоб ветры песнь мне пели,

на рифах пляску волн люблю,
хочу, чтоб вы, ручьи, звенели!
Нам нужен колокола звук,
крик чайки над волною,
леса, где горько пахнет бук...

Да будет жизнь иною!
Свет музыки нас озарит,
чтоб мы запели,
такт жажду нашу утолит,
насытит душу нашу ритм,
и крикну я тогда: «Царит Веселье!»
Да! Редко взываю к тебе я, Господь
Скорбящий,
но в раковину небосвода молю я,
в небесное ухо:
от жизни пустой и пресной, без музыки
и без песен,
от жизни, в которой тесно,
спаси нас!

СКОРБЬ

Поседевшую голову, как серебристый
подсвечник,
я несу, наклоня ко дну этих улиц все ниже,
чтобы пламени ветром не колыхало.
Появляются ласточки и щебечут:
«Много видел, но мало!
Иди же!»

Полюбиешься празднествами,
где-то в гетто замрешь от хруста
битых стекол, увидишь пламя,
что пожрет корабельные снасти
и твое любовное счастье. И твое обнаженное
чувство.

И голодных народов услышишь ты вой —
то не будут обычные стоны людские.

Нет! Над миром сгущается вечер.
Ноздри чуют потопа горячий, багровый удой.
Скоро будем кричать мы друг другу при
встрече:

«Кто такой? Кто такие?»

И, чудесно помножен на всех вас,
буду множество раз, как и вы, умирать я
и опять оживать многократно:
я — законник, закону покорный,
я — давящийся криком «Газ!»,
я — и пахарь, восставший на пашне, и убитая
жница на ниве,

я ребенок, в печи осужденный сгореть,
житель, бомбой в укрытье сраженный,
поджигатель казненный —
в списках крестик я черный...

О жатва,
жатва гула и взрывов!

И успеют ли воды речные отржаветь от крови
невинной

к той поре, когда снова колонны растущих
я увижу? столиц
Вот тогда полетят эти ласточки новой
лавиной —
туча птиц!
Свищут крылья:
«Иди же! Иди же!»

Юлиан Пшибось

(р. в 1901 г.)

У ВЕРШИН ДОРОГИ

(Сентябрь 1939 года)

Автомашины без бензина бежали, ибо гнал их страх,
и навзничь падало пространство по обе стороны пути,
а из-под солнца, как из-под поршня,
бомбардировкою вгнетало бегущих в прах...
И выпрямилась ночь из зарев,
и красный пел петух — пожар.

И вдруг во мраке — туша. Лошадь!
Как хрустнули под тормозами
ее подкованные ноги!
Скончался всадник у дороги.
С его лица вспорхни, о птица, на саблю перелети!

А мимо, будто бы и живы, с какой-то гордостью
фальшивой,
как будто груди в орденах, которые с убитых сняты,
шли неудачники солдаты, как на своих похоронах,
иронизируя, скорбя, осмеивая себя и затевая перебранки;
«Что нашей коннице их танки!»
О, забуду никогда я горечь этого стыда!

И снова мчал автомобиль...
Качало на качелях миль,
и солнце у вершин дороги
вставало через кровь и пыль.

ВЕСНА

Зеленый блеск! И залп древесный.
С очей исчезли бельма снега.
Весна! Над головой, над рощей.
 Как будто бы срываю с неба
 цветок — огонь, и в мгле небесной
 я чувствую своей рукою:
 война!
 Упал бомбардировщик.

И только ты, моя рука,
Осталась вольной, мне послушной!

На нивах, вспаханных войною.
Над щелью противоздушной,
цветы эпохи, на рассвете
в огне вставайте!

Ломай границу, войско маков,
идя с востока нам навстречу!

Рукой, тоскующей о плуге,
вас, жертвы,
вас, кто гибель встретил,
листвой дубовой я венчаю.
Пора близка!
Посев ветер,
дождусь я радуг урожая!

Тадеуш Голуй

(р. в 1916 г.)

БЕЖАТЬ!

Бежать! Вряться в землю, прижать к ней и грудь и живот,
Меж будками стражи по высохшим травам в ночи волочить
свое тело

И чутья при этом, как дышит оно и живет,
И каждую мышцу беречь для желанного дела,
Которое ждет!

Чтобы впредь уже мной никогда
По вольному вздоху, по стали оружия тоска не владела, —
Бежать!

Этот нож, он в руке моей точно звезда!
Пропасть, так пропасть на свободе! Хоть сдохнуть, но гордо!
Жить! Драться! Стрелять! А сюда я себя не верну —
Крадется тут смерть за толпой неотступною тенью!

Вот добрые тучи затмили на небе луну.
Мое пересохшее горло
Томит эта ночь — искушенье.

Бежать! Я недаром видал журавля над своей головой!
Прыжок! Пуля свистнет. Но этот ли выстрел мне страшен?
В летящее тело не может попасть часовой.
Упасть на свободу, на вольные борозды пашен.

Подполье и явки! Домами меня окружив,
Надвинется город. И буду как призрак в тумане.
И пьяная девка в притоне не выдаст охране.
Не дамся я в руки солдатам, пока буду жив.

Бежать! Что здесь ждать! И к чему это все продолжать!
Пожали товарищи руку мою на прощанье.
Мы смотрим на карту.

— Ну, если удастся бежать,
Друзьям передайте, что мы...

До свиданья!

Роман Братный

(р. в 1921 г.)

НОЧЬ ПОБЕДЫ

Ночь предместья. В сиреневых гроздьях пчела
Дремлет сладко, будто за стойкой...
Опрокинем по рюмке! Опрокинулись рюмки, цветные,
как лён полотна

Майки моей спортивной.

Плещет в листве луна — велосипедная рама,
Оседлали ее листики среди древесного треска.
Вот и помчимся прямо
В Старе Място!

Для твоего счастья гроздья сирени эти,
Как и цветы, из которых выжаты соки, —
Эти льняные ткани, льнущие прямо к сердцу!
Ведь для тебя оно бьется, для одной на свете!

О бутоны — нежнейшие фляги печали! Мчусь
и свищу я...

Минет все, как известно!
Я скажу: «Окутай шею воротником из сирени —
Шея твоя прелестна!

А овал твоего лица —
Будто бы богородица едет на ослике малом
Там, где Млечный Путь округляется, —
Так он нежен, так ласков!

А щека у тебя, смеющейся,
Будто в ландышевые одежды
Облачается воздух, несущийся
Из-под крыл самолета надежды!

Еду! Ты не путайся (ведь праздник Победы),
Если я постучусь, если дам тебе знак —
Ведь сегодня от грома салюта из 120 орудий
Только листик древесный сорвется во мрак.

Он упал, лепесток. Все проходит, что было.
Может, правда и то, что ты пала в бою
Год назад, и везу я сирень на могилу,
Чтоб сирень возложить на могилу твою!»

Адам Важик

(р. в 1905 г.)

ХРОНИКА

Солдат в лесу убит — зачем добыл свободу!
Мужик убит в избе — зачем брал землю!
Еврей убит в пути за то, что спасся.
Так в горькой хронике событий современных
решенье ста глупцов над будущим нависло.

Лес, что под вереск прятал партизан,
глумится, возвышая славу павших:
солдат в лесу убит — зачем добыл свободу!
Там, на наделе, мельница, пылая,
в немом отчаянье руками машет:
мужик в избе убит — зачем брал землю!
Еврей убит в пути за то, что спасся!

Вопль похоронный тешит мещанина,
в междоусобицу играет сволочь,
волк сдох, но длится вой его полночный.

Решенье ста глупцов нависло над грядущим,
Грядущее дрожит от свиста нули.
И, вдруг очнувшись, жадно ловит воздух.
Им лечится и крепнет постепенно
кристалл израненный — вот эта ваша слава,
вы все, кто смерть нелепую познали,
в сей горькой хронике событий современных.

Константы Ильдефонс Галчинский

(1905—1953)

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПЕСНЯ

Конструкторам за своды,
мосты, шоссе, туннели,
за циркуль что всю ночь не выпущен из рук.

Рукам за их терпенье,
упорство и уменье
вливать силу в молот, серп и плуг.

Шахтерам за железо, за уголь и за цинк —
за экспорт, внешний рынок,
за широту натур.

Строителям веселым
за мощь домов, за школы;
за кисть тебе, штукатур!

Булочникам за ковриги;
поэтам за их книги,
за пыл, с каким поют,

за песни Польши новой,
в которой что ни слово, —
мелодия и труд!

И к черту скучный, нудный
и ханжески паскудный
шум лавров дутой славы,

словечки в колбах мутных
по капелькам, как будто
сироп слащавый!

Сегодня, варшавяне,
у рукописей станем,
как у станков.

Ведь суть не в том, что снится,
а в том, что въявь творится!
Пойдем в конце концов:

в стихах нуждается народ,
и Польша по утрам поет
не так, как шмель, а как пчела.

Пусть стих ваш блещет, как звезда,
путейцам за поезда,
войску за красно-белые выпела!

ЛИРИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

— Скажи, как меня ты любишь?

— Скажу сейчас...

— Ну?

— Люблю я тебя и на солнце. И при свечах.
Люблю, когда берет наденешь или шляпу.

Или платок.

Люблю тебя и в концерте. И на перекрестке дорог.
В сирени. В малиннике. В кленах. В березовой чаще.
Люблю тебя спящей. Люблю работающей.
И когда ты яйцо разбиваешь так мило.
И даже когда ты ложечку уронила.
В такси. В лимузине. Вблизи. В дальней дали.
Люблю тебя и в конце улицы. И в начале.
И когда ты на карусели. И когда ты идешь пешком.
И когда ты расчесываешь волосы гребешком.
В море. В горах. В калошах. Босую.
Нынче. Вчера и завтра. И днем и ночью люблю я.
И когда ласточки прилетают весной.
— А летом как меня любишь?
— Как летний зной!
— А осенью, когда капризы, и всякие штучки,
и тучки на горизонте?
— Люблю, даже когда ты теряешь зонтик!
— А зимой, когда снег серебрист на оконной раме?
— О! Зимой я люблю тебя, как веселое пламя.
Быть у сердца люблю твоего. Близко. Рядом.
А за окнами — снег. И вороны под снегопадом.

ТРУБЫ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

Через лес уж сколько раз
нынче почта пронеслась.
Что ж дивиться? Так всегда ведь накануне рождества
лопаются сосуды маниакального письмотворчества!

Ясек, что пера и в руки не берет,
настрочил посланий девятьсот.
Пишет Алоизий, и Фуня, и Майя,
разрастается предпраздничная приветомания.
В Кракове на Площади Книги вчера
в днище почтового ящика образовалась дыра —
столько писем, что прямо невперенос!
Вот и еще один письмовоз —
еще один мостик, еще одна речка,
и почта въезжает в стены местечка.
Снег перед почтой несется, как заяц,
трубы почтовые громко играют:
письма, посылки спешим привезти.
Праздники весело вам провести!

На почте четыре оконца, и видно
за каждым по девушке, и все миловидны:
— Я, пани, хотел бы с вашего позволенья
жене отослать заказное срочное отправленья.
(...и еще сообщаю тебе, Марыся:
канарейки улетели, не прижились,
и золотые рыбки подошли, конечно...
вообще беспорядок ужасный. Целую нежно.)
А вот телеграмма пану Ансельму
о том, чтоб он деньги выкладывал, шельма,
а вот и посылочка: маринад,
дедушка будет, наверное, рад,
ведь для деда приятнее нет ничего,
чем от внука подарочек под рождество,
маринад ведь для деда не вреден нисколько.

Телеграммочка в Щецин, а в Лодзь —
бандеролька,
До свидания, пани! Вы ангел почти!
Праздник желаю весело вам
провести!

Поздно вечером и утром рано
почта работает неустанно,
трудятся днем и дежурят всю ночь там.
Почта, друзья мои, почта, почта!
Столбы при дороге, в ельнике провода;
мчатся автомашины, летит телеграмм череда.
В сторону, зайцы! Вороны — с шоссе!
Фелек, газуй! Письма срочные все!
Это — гражданское, это — в армию,
Это во Вроцлав, а это вот в Вармию.
Это вот в Щецин, в Щебжешин вот это.
Мчится сияющая эстафета,
Так не сверкать и цветам на ветру бы,
как на почтарских шапочках трубы.
Почта! По суше и морю пути!
Праздники весело вам провести.

Между тем в одних домах настраивают
пианино,
а в других хлопотливые тетушки ставят пышки
ровнейшим рядом.
24 миллиарда снежных нахлесток
(буквально: ветер, перемешанный со
снегопадом).

Сквозь ветер и снег пробирается письмоносец
с телеграммами, письмами, с пенсией для
инвалидов войны и труда.
И вот так день за днем. Так всю жизнь он
и носится
с этажа на этаж. Словно белка. Туда и сюда!
Собственно, меняется только фон:
в деревнях — петухи, в городах — неон.
Вновь посылка, доплата сто грошей! И снова:
— Распишитесь в получении срочного
заказного!

Потому что по почте можно послать что хочешь:
сердце, бутцы и даже стишочек:

Люблю тебя уж столько лет,
грустя и песни напевая.

Люблю, быть может, восемь лет,
а то и девять — я не знаю.

Все расплылось. Все спугалось. Где ты, где я —
не знаю, и порой мне мнится,
что ты мой пыл, борьба моя,
а я — твой локон, твои ресницы.

Когда мое сердечко треснет,
вздохните: был, мол, и не воскреснет,
такой лунатик непутевый.

МОЕ ПЕРО ШВЫРНИТЕ В ВИСЛУ,
А ПРАХ МОЙ — НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА,
А СЕРДЦЕ — В ЯЩИЧЕК ПОЧТОВЫЙ.

Владислав Броневский

(1897—1962)

МАЗОВИЯ

I

Стихи даю вам,
как хлеб — крестьянин,
как шахтер — уголь.

Хлеб вас насытит,
уголь согреет,
а стих мой?..

Слышите,
как новорожденный
в крови еще стих мой и плачет,
но будет и радоваться.

Прекрасна поэзия.

Прекрасна жизнь.

II

Равнина мазовецкая,
раскинувшаяся широко,
блуждают по тебе мое сердце детское
и мужское око.

С Тумской горы гляжу на лес Королевский.
Временем стерты
его резкие
контуры.
Калужницы мазовецкие —
давно это было — болотца, лужи.
Но мысли мои уж не детские, не
молодецкие...

А почему же?

Старею, как плоцкий дуб,
как он, могучий,
с судьбой и со временем борюсь зуб за зуб.
И вы отойдите-ка лучше!

Если рухну, — а рухну здесь я,
на любимую землю, куда ж иначе! —
то и тебя здесь схороним, песня,
с последним плачем.



Чудесная, польская
живая вода,
река моей жизни —
куда мы плывем?..

И, если последняя радость моя —
твоя убегающая струя,
умчи меня,
польский чудесный поток,
прекрасная
ясная
Висла!

IV

На Висле
поют
плотогоны.

Красивая песня на Висле.

В польской Кемпе есть слива венгерка,
в Чеслях — лес, а в лесу — малина,
и ходил в нем
мальчик малый —
я, ища сокровищ,
и нашел их,
и вновь потерял их...
О сокровище моего детства,
дайся в руки обратно!

V

Как было бы славно
в Боровичках
пойти малость выпить.

Там закручивается красавица Висла;
к Добржикову,
к Варшаве,
там-то и закручивается Висла.

Как было бы славно
плыть на пароходике до Плоцка или
Варшавы!

Маленькие волны,
заросли ракиты,
жар котельный.

Хлеб в буфете
с маслом, с солью
добр, как мать родная.

Тополя без счету,
на песках кукушки,
ивовая заводь,
даль, вода.

После смерти
буду плавать туда.

VI

При керосиновой лампе
сидел я с мамой и сестрами;
шел из сада запах сирени,
я читал Андерсена,
мама лампу подкручивала.

При керосиновой лампе
Прус,
Ожешко,
Жеромский творили.
Электрический свет ярче —
я писал при нем стих о Варынском.

Я писал стихи прошлой ночью;
так хотелось, чтоб кто-то

подкрутил мою душу,
как лампу.

VII

Висла родная! Польское слово, слово любовь
принимает проше всех слов душа...
Вод глубинность, возвышенность слов,
речь и река Мазовша.

Зарождает реченья глубинные дно
той реки раздумия — Вислы,
чтобы иные слова — сердцу знать их дано —
вместе с чайками ввысь унеслись.

Чтоб стихи околдовал в небе солнечный свет
из стремительного полетословья.
А одно крыло у стиха — это смерть,
а другое зовется любовью.

О родимая польская речь, буревая,
а порой более мягкая, чем соловьи,
оба крыла я в тебя погружаю,
возвращаюсь в недра твои,
и со мной слово-слава —
слово Варшава.

VIII

Есть над Вислою город, прекрасней, чем наша
смерть,
в дни, когда наша жизнь зарождается между

героических подвигов; город, где умереть
так же славно, как жить, — город доброй
надежды!

Варшава,
поверженною колонной
ты, гордая, полегла.
Варшава,
Мария моя сокрушенная,
ты не умерла!

От Кракова, от Сандомежа, от всех
польских земель Висла льется
прямо к Варшаве, чтоб видели путники со всех
дорог, дорожек и троп:
вот она!
Кто на нее захочется,
тем — пуля в лоб!

Город в лесах новостроек скрывается,
здания и фабрики возводят рабочие,
в социализм поднимается
дом мазовецкий наш, зримый воочию.

IX

Прекрасное! Видел я греческие колонны,
видел шедевры, кистью творимые,
и шумные леса зеленые,
и лица живые, любимые.

Прекрасное! Тяжкой солдатской стопую
топталось оно напрасно.

Верь: в нас с тобою
и посейчас оно!

В страшных мельницах перемелются
все години,
и не опустим глаз мы
и выбор сделаем чин по чину,
и это — прекрасное!

Ж

Ты прекрасная, река Висла,
вижу тебя до дна.
Ты союзница моим мыслям,
моим снам.

Ты прекрасна, Мазовия,
у тебя взял я крылья для взлета.
Вот острие моих слов: Я
не «из грустной страны илотов».

Я книга, которую перелистывать
будущему поколению;
это, Висла,
мощь твоего течения.

А умру я
так в Висле меня утопите,
как Святовида,
и позабудьте,
как о Святовиде!

Лыко в строку ты не ставь мне с бранью,
Что ломлюсь в подсловья мирозданья
К семенам, ключам, истокам чистым
В испуленье Слововера истом
И в поля родного Словополя
С палочкой волшебною пришел я,
Чтобы зелени вернуть приволье
В польской речи, в нашем Словополье.

Тот грустит о соловьином свисте,
А другому панна в мае снится,
Мне ж звучат, как женственные птицы,
Словарей пленительные листья.
С каждым маем к юности и воле
Древо-древность ширится все шире.
Вот мой дом — стиха стены четыре
На полях родного Словополя.

Так сойдем же вместе в детство речи,
Как шахтеры в штрек, чтоб издалече
Мог подземной лампой осветить я
Древние дремучие события.
Мы — в Эрцинском царстве. А над нами,
Над неполомицкими слоями,
Встало Беловежье пластовое
Древнюю, дремучею Литвою,
Иновлодские мои дубравы,
Где кентавр топтал свои пратравы,
И славянской Атлантиды хвоя —
Все языческое, вековое,

Мховое... и где-то там, за нею
Геркуланумы дубрав, Помпея!
Где ж найдем мы этих дебрей гуще?
Вот они — овраги, яры, пущи!
Ярогневы неба их спалили,
Их секиры молний повалили,
Все в ступе тысячелетий обито,
Чтобы стать пластами антрацита
И опять с огнем соединиться,
И опять в застывшую гробницу,
В эту пропасть пасть, чтоб веял снова
Стужею удушья гробового
Лед алмазный, глетчер онеменья...

Но разбудим древние каменья
Чарозельством. Ведь кладоискатель,
Мертвых дел будитель, воскрешатель,
Видя смерть и жизнь предвечной речи,
Ведает, что дело человежье,
Так же как и деянье лесное,
Все течет одною глубиною,
Где-то исчезает и таится,
Чтоб наружу все-таки пробиться,
Чтоб сверкнул для разума людского
Ключ живого, луч родного слова!

И, разбужен, забушует уголь
Лесом, полем, медоборьем, лугом,
Солнце поглощенное изринет,
Мох потопом бородастым хлынет,
Чтоб глаголу твари внять могли бы!
Древний ящер выскользнет из глыбы,

Ветер под крылами птиц воскреснет,
Еж и елка заиглятся вместе,
И свои покинет узилища
Крупный зверь: стволы и корневища,
Вдруг очнувшись, все пойдут толпою,
Зеленью сверкнут и — к словопою!

Хлынет ключ из-под корней растений
К жаждущим устам ветвей — оленей.
И тогда очнется от молчанья
Самка-Речь, вдова с времен венчанья
Первородного. И — снова в зелень!
Словизна тут засочится хмелем
И словесность хлынет коренная,
Кровь — руда, зелица медвяная.
И заблещет лес лучистой речью:
Жмудью, и санскритчиной, и гречью.
Эха тут пойдут по многостволью,
По стране родной, по Словополю.

В полный голос брат окликнул брата:
Все ведь были родичи когда-то,
Кровные, сумели стоковаться.
Смехом-эхом стали окликаться.
Ведь выросли-то от единых зерен —
То же словище и тот же корень.
Род их зелен, буен, непокорен!
Спорят: кто измерит бездну Зели;
Кто найдет, придя к предельной цели,
Корень Зели меж других зелинок —
Всяческих зелишек-небылинок.
Кто из них сквозь златоцвель болотца

До истоков зелья доберется,
Зельчиков натеребит зеленых
На межах подсловья отдаленных,
Кто на шумном зельбище природы
Праотца найдет — Зеленорода?!

Ящерицы подали тут голос:
— Мы не падчерицы! В нас — зеленость!
Той же зелени мы плоть от плоти.
Празелень вы в нас-то и найдете!
Но решило православных вече
Листьев большинством, что вздорны речи
Ящериц, что — не давать права им:
«Прочь беззельниц! Так повелеваем!»
Отбежали ящерки и плачут:
— Что же, не зеленые мы, значит?
Как на тризне стонут о недоле
На своей отчизне — в Зелеполье.

Перерыли зеленостей тыщу —
Все-то Зеленосца не отыщут,
Ибо то зеленое начало
Не в листве, не в травах зазвучало,
Не в сыром побеге-малоростке,
А в зеленке — искристой стрекозке,
Что порхать в стихах вот этих стала
Между строк от самого начала.
Не она ли на слова садится,
Чтоб им всем насквозь прозелениться,
Срашивает звуки, разделяет,
Упорхнувши, снова прилетает...

Труд Зеленоведа опекает
Стрекоза — зеленка в блестках света...

Не отныне — с давних лет все это.
Еще зелень тела не имела,
Ни зела в земле еще не зрело;
Желчь и злато гелтасом единым
Не плескались в неманских глубинах,
(И теперь — иди за Вильно в поле —
В этом поле не трава, а жолэ,
Не зеленят здесь — жельтятся травы,
Тут ж о л и н а с — золото отавы).
Еще в Рейне гульт не булькнул, взболтан,
Было все ни золотым, ни желтым
И ни в капищах латвийских — зельтсем.
(Значит — златом, а слышится — зельцем!)
И лоза, пружинясь, не добилаь,
Чтобы прусс сказал о ней: «Жалияс»,
И жмудин, осознавая ржавость
Рыжей белки, не воскликнул: «Жаляяс»,
И былинка-золка не цвела там,
Всеславянским наливаясь златом,
Как праматерь всех полезных злаков;
Еще мягким не смирился знаком
Грубый ЗЕЛ, и нерасцветший жолтик,
Не прося о золоте, был желтым;
Еще жолна (дятлик тот, отзелок,
Chlorophicus, от ствола отстволок)
По-над Влтавой жлутой жлуной стлалась,
Еще Хлоя не зазеленялась,
Не успела травяная поросль
Подсказать Элладе слово: х л о р о с , —

А уже в «зеленое» играла
Стрекоза со словом! И мерцало
Через мысли — домыслы природы
Робкое сиянье Зелерода.

Вот как было, вот чем завершилось,
Вот как эта песнь озеленилась!
Зеленится зелень от предвечья
В Словополье нашем, в польской Речи!

МЕЖДУ АПЕЛЬСИНОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Из итальянских поэтов

Сальваторе Квазимодо

(р. в 1901 г.)

ТО СКРЫВАЯСЬ, ТО ПОЯВЛЯЯСЬ...

То скрываясь, то появляясь,
возчик на горизонте
из объятий своей дороги
перекликается с островами.
Но и я не плыву по теченью,
и в буре мира я читаю
повесть свою, как ночная стража
часы дождя. Есть в сокровенном
площадки счастья, стратагемы и сложные
аттракционы,
я жизнь моя, с ее жестоким смеющимся
населением
моих кварталов и пейзажей,
на дверцах не имеет ручек,
и смерти страх меня не мучит.
Извечный принцип мне известен:
Конец — поверхность, где влачится
охотник за моею тенью.
Какое дело мне до тени!

ВЫСОКИЙ ПАРУСНИК

Когда прилетели птицы, чтоб шевелить листвою
горьких деревьев у моего дома
(это были ночные слепые птицы,
гнездящиеся в коре древесной).
поднял я голову к луне и увидел
парусник высоченный.

У кромки острова море было горько-соленым,
и от неба тянулся берег, в нагроможденьях
древних ракушек, сверкавших сквозь карликовый
лимонник
между утесов над рейдом.
И сказал я любимой, которая мерно качала в себе
моего нерожденного сына,
и для него хранила в душе своей бесконечное море:

«Я устал от всех этих крыльев, бьющихся в ритме
весел,
и от сов, завывающих, как свора псов,
в ночь, когда ветры лунные свищут в кустах.
Я хочу этот остров оставить!»
А она отвечала так: «Дорогой мой, уж поздно.
Останься!»

И тогда я медлительно стал считать
величавые отблески вод,
до лица моего доносимые ветром оттуда,
где, волну рассекая, идет
парусник высоченный.

ВРАЖЕСКОМУ ПОЭТУ

На соломенно-желтых песках Гелы
по-ребячески я распластался у моря
Греции древней,
в кулаках и в груди сновиденья
сжимая
без числа и предела. Эсхил-изгнанник
мерил стих свой и шаг безутешный
по дну этой высохшей бухты,
и орел его тут с высоты припечатал,
и последним тот день был. А ты,
северянин, хочешь,
умалив и убив меня, мир свой
упрочить. Надейся!
Матери моего отца сто лет
исполняется
по грядущей весне. И надейся,
что мне
не придется завтра играть
под дождем твоим черепом желтым!

15-ти С ПЛОЩАДИ ЛОРЕТО

Эспозито, Фиорани, Фоганьоло,
Казирачи, кто вы? Звуки, тени?
Вы, Сончини, Гасперини, Принчипато —
угасающие начертанья,
Темоло, дель Ричи, Вертемати,
вы, листва на древе крови,

Галимберти, Бравни, Раньи,
Мастродоменико и Полетти!
О, не запятнает дорогая
наша кровь покрытую ею землю,
а ее возвысит в час мушкетов,
но зияют на наше унижение
ваши раны, эти пули в спину.
Бездна времени прошла, и жерла пушек
тянутся к смертоубийствам новым,
и зовут к смертоубийствам новым,
флаги иностранные над кровом
тех домов, где жили вы. Живыми
мят себя, боятся, что убьете.
Но не стража злобы наша стража,
наше бдение не плач у гроба,
смерть не смерть, когда она — бессмертье.

МИНОТАВР В ГНОССЕ

Стройные станы и округлые бедра
были у юношей Крита. Из лабиринта
рык Минотавра бычий был для юношей
Крита в обычай.
Премудрость Ариадны, чувственность
Пасифаи,
выходящей, подобно Венере, из пенного моря
с быком, в животном обличье...
Но искусство — оружие людское. Приметы
утонченной жизни гражданской —
это, критяне, ваши приметы. Нет смерти,

но при этом теперь и таких не найдете,
кто ножом поразил бы чудовище в Гноссе.
На базаре Гераклиона
в бестолковой захламленности Востока
на догреческость Греции нет и намека.

В ЭТОМ ГОРОДЕ

В этом городе есть даже такая машина,
которая и мечты перемалывает в порошок.
Брось в машину жетончик — маленький диск
страданья, —
и ты уже там, в этих самых краях,
безмянный среди теней безрассудных
фосфоресцирующих водорослей и дымящих грибов.
Шутки чудовищ,
витающих над прахом моллюсков,
гниющих и разламывающихся, хрустя.
Эта машина стоит в угловом баре
перед строем платанов, здесь, в столице моей
или в какой-нибудь другой. Ну, смелее
крутани рукоять — механизм включен!

И СОРОКА ЧЕРНАЯ СМЕЕТСЯ

Вот он самый верный признак жизни;
окружающие меня ребята,
легкомысленно вскидывая головки,

подтанцовывая и напевая,
хороводятся на лугу церковном.
Милосердие вечернее; тени,
снова вспыхнувшие в траве зеленой,
так чудесны в лунном озаренье.
Память вам дарует краткий отдых,
просыпайтесь. В час прилива
просыпается вода на дне колодцев.
Это час не мне уже подвластный,
а иссохшим призракам. Ты, южный
ветер, пахнувший цветами померанца,
лунный диск гони туда, где дети
спят нагие, кликни жеребенка
на поля, еще сырые
от следов копыт, сними покровы
с моря и туман раздерни
над деревьями. А вот и цапля,
медленно приблизившись к болотцу,
внюхивается в ил меж тростниками,
и сорока черная смеется
между апельсиновых деревьев.

Эдженио Монтале

(р. в 1896 г.)

ЧЕРНАЯ ФОРЕЛЬ

Горбятся над вечерними водами
Экономисты невысокого званья,
Богословия доктора,
А форель понюхала и — до свиданья.
И ее антрацитовое сверканье
Мне напомнило кудри твои при купанье,
Она напомнила мне твой вздох
Под сводами подземелья твоей конторы.

Анжело Марио Риппелино

ЛЕБЕДЬ ИСКАНУС

Из глухого и скрипучего
крика лебедя Исканус
родился квартет Яначека;
свет свечей и свет лампад
порожден картинами Пикассо.
И напрасно
мутно-копотливые уродцы
жизнь от творчества стремятся
черною стеною отделить.
И напрасно
вор ворует свечи,
мир пытаюсь ввергнуть в сумрак ночи, —
светы снова загораются в картинах,
все оттенки у Вселенной взяв.
Лебедей мясник напрасно режет,
думая, что сказку уничтожит, —
сказки голос все-таки прорвется
в музыке, в скрипении пера,
снова он по строкам пронесется,
образы всё новые бросая
в преходящее, в пустыню бытия.

Альдо Северини

ЗАКАТ НАД ПОРТОМ

Бросают краны
вызов красным зорям.
Глядится
в зеркало воды
меланхолично
баржа-старуха.
На рельсах
монолог
вагонов одиноких.
Маяк
поет
сиянием
в пространство.

НА ДНЕ ЗАБОЯ

Нет света
в глубине забоя.

Нет воздуха
На дне забоя

Нет пищи
в глубине забоя.

И нет жены твоей
с тобою.

И сына нет
на дне забоя.

Тебя от мира отделили,
тебя лишили света,
и воздуха, и пищи,
и женщины любимой,
единственного сына.

Один ты здесь,
и нет тебе покоя.
На дне забоя!

МОРЕ ВЕЧЕРОМ

Устало вслед за парусом к причалу
подходят воды;
с уходом дня темнеет море;
блики света
мерцают,
как подводные пожары.

НОВЫЙ СВЕТ

*Из латиноамериканских
поэтов*

Пабло Неруда

(р. в 1904 г.)

АРОМАТ ПОЛЕЙ ЛОНКОЧЕ

Злой дух здесь овладел землею омраченной,
сгреб нивы нежные, кривые горы сдвинул;
когтями он изрыл поверхность защищенной
прямолинейными аллеями равнины.

И насыпь поднялась, стряхнув свою усталость;
ладонью скорбною раскрылся холм; и, точно
хмельные всадники, галопом тучи мчались
в отрыве от небес, от бога и от почвы.

И землю взрыл поток; земля от наводнения
бежала с мокрым лбом, утробу раскрывая.
В проклятых сумерках в различных направлениях
катились поезда, как тигры, завывая.

Я — слово этого пейзажа неживого,
я — сердце этого пустого небосвода;
когда иду в полях с душой, открытой ветру,
в моих артериях шумят речные воды.

А ты куда идешь? Как глина голубая,
пространство под рукой ваятельницы-ночи.
И не зажгут звезду. Глаза мне застилая,
медовый аромат плывет с полей Лонкоче.

ЧТОБЫ ТЫ МЕНЯ СЛЫШАЛА...

Чтобы ты меня слышала,
стелется
каждое слово,
словно чаек следы на песке побережья морского.

Бубенцы, ожерелья
для рук твоих нежных, для рук виноградных —
вижу, где-то далеко
слова мои стали твоими:
будто плющ, они вьются вокруг моей вечной печали
и по влажным взбираются стенам,
из-под темной охраны моей убегают.
Ты виновница этой кровавой забавы —
все собой заполняешь ты, все заполняешь!

Прежде тебя поселились они в одиночестве этом,
где ты обитаешь,
больше тебя привыкают они к моему огорчению.

Пусть они скажут тебе обо всем, что сказать мне
хотелось,
чтоб понимала ты так, как хочу я, чтоб ты понимала.
Часто ветер тоски их уносит, и часто
ураганы мечты развевают.

Но нередко и в этом отчаянном голосе слышишь
старый мой зов, кровь былых заклинаний:
«Ты — подруга. Люби меня! Не покидай меня! Следуй
за мною.
Следуй за мною на той же волне печали».

Но слова мои тонут я любви многоцветной.
Все собой заполняешь ты, все отнимаешь.
И плету я из слов бесконечное ожерелье
для твоих белых рук, рук твоих виноградных.

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОСЕНЬ

День омраченный падает с колоколен,
будто бы вдовье трепещущее покрывало.
Этот цвет, эта дрема
уходящих в землю черешен,
это струенье дыма, наплывающего бесконечно
и меняющего окраску влаги и поцелуев.
Я не знаю, понятно вам это?
Ночь нисходит, поэт одинокий
слышит осени конский топот;
и, растоптаны, листья страха шелестят в глубине
артерий.

В небе — что-то густое, точно язык воловий,
некоторая неясность в небе и в атмосфере.

Все возвращается на свое место:
неизбежные авокадо,
руки, бутылки с маслом,
словом — все признаки жизни и прежде всего кровати,
полные влаги кровавой;
грязные уши подслушивают сокровенные тайны
людские,
убийцы по лестницам сходят,

но дело не в этом, а в старом галопе осени старой;
осени старая лошадь скачет своей дорогой.
Осени старая лошадь с красною бородою,
на губах — пена,
а за осенью — дух океана
и блуждающий запах могильного тлена.
Эти дни, что с небес ниспадают как пепел,
этот пепел, который должны разнести по земле голубки,
эти нити, сплетенные забвением и слезами,
это время, дремавшее долгие годы под колоколами,
эти ветхие платья,
эти женщины, видящие, как падают снежные хлопья,
эти черные маки, взглянув на которые люди прощаются
с жизнью, —
все мне падает в руки, которые я подымаю
к дождливому небу.

ГИМН ВОЗВРАЩЕНИЯ

Родина, родина, плотью и кровью я снова с тобою.
Встреть же меня, как сына. Слышишь: я полон
песен и плача!

Прими же
эту слепую гитару,
этот разум, блуждавший по миру!

Я уходил, чтоб с сынами земли повстречаться,
вышел я павших искать с именем твоим снежным,
вышел я дом построить из твоей древесины свежей,
раненых героев твоей озарить звездою!

Нынче в твоём существе я хочу позабыться.
Дай же мне светлую ночь струн своих проникновенных,
дай твою ночь корабля, дай твоё звездное небо.
Родина, хочется мне тень обменять. И хочу я
новой розой владеть. И хочу положить я
руку на тонкий твой стан. И на выжженных морем
скалах сидеть я хочу. Колебанье пшеницы
остановить я хочу и в колосья взглядеться.
Флору я изберу, высохшую от селитры,
нить ледяную спряду из колокольного звона.
В честь твоей красоты сотку я венец прибрежный
из одинокой твоей и прославленной пены.

Родина моя, окружена ты
сонмом воинственных вод. Соединились
сера в тебе и орел. В горностаينو-сапфирной
южнополярной руке твоей искрится капля
чистого света людского, чтоб им озарилось
и вспылало враждебное небо.

Родина, свет свой храни! Колос надежды
да не погибнет в слепой атмосфере смятенья,
ибо достался на долю земли твоей дальней
свет этот трудный —
судьба людская.
Ты защищаешь цветок небывалый,
что расцветает, загадками полон,
здесь, в необъятной Америке спящей!

Хосе Марти

(1853—1895)

* * *

В ажурном замке встал влюбленный
У мавританского окна
И, бледен, как сама луна,
Застыл, в мечтанья погруженный.

Бледна, на канаве, чей шелк
И голубеет и пылает,
Фиалку Ева обрывает
В свой чай. Их разговор умолк.

* * *

Испанскому Арагону
Есть место в груди моей. Весь он
Вот здесь, прямодушен и честен,
И верен, и храбр непреклонно.

Как все это в сердце вместилось?
Соображающим туго
Отвечу: имел я там друга,
Там женщина мне полюбилась.

Там, в этой долине цветущей,
Свои охраняя владенья,
Борясь за свои убежденья,
Со смертью играет живущий.

И если алькальд обирает
И злят короли самодуры —
Хватает оружие батурро
И в честном бою умирает,

Ту землю под желтою пылью
И мутные эбрские струи
Люблю я, Лануса люблю я,
Пиляр голубой и Падилью.

Я тех уважаю, кто с трона
Сшибает тирана. Мне любы
Отважные, будь они с Кубы
И будь они из Арагона.

Люблю я дворы тенивые,
Резные перильца, порталы;
Молчанье судов у причала,
Обители полупустые.

С цветущей землей я сдружился —
С землей мусульманской, испанской,
Где некогда в дни моих странствий
Цветок моей жизни раскрылся.

* * *

Коль леопарду будет туго,
Средь бурых скал он притаится,
Но я могу верней укрыться,
Поскольку я имею друга!

У гейш подушки, как игрушки:
В японском стиле безделушки,
Миниатюрность их упруга,
Но все же не заменит друга.

Граф родословную имеет,
Имеет крылышки пичуга,
И даже нищих солнце греет;
Я в Мексике имею друга.

У господина президента
Поместья, золотая рента,
В саду фонтан, в дворце прислуга,
Но я имею больше: друга!

ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ ЧАША

Восходит солнце. И гляжу я в небо;
Там — чаша горькая. И содрогаюсь,
Нет, не от страха блудного: от гнева!
В час утренний в объятьях у Вселенной
Земля ленивая лежит, едва очнувшись
От сладких снов. Бессмертья чаша
Там, где кипят на солнце силы жизни.

За озорное чадо, за счастливица
С душою, как дешевенькая флейта,
За женщину с благоуханным телом,
Взирающую обморочным взором
На воздух, полный роз необычайных,
Земля, на спектр цветов разбитый Ирис,
Поток омолажающий и чистый,
Свой дружелюбный тост провозглашает.

За резвость, за цветущие долины
И за меня — за то, что я для ближних
Пожертвовал своим благополучьем!
Земля меланхолично нависает
Над головой моей, отягощенной
Огромнейшим и скорбным игом жизни.
Я бью челом, я व्यю гну послушно
И, губы сжав плотнее, умираю.

* * *

В противовес риторике надутой —
Стих безыскусственный. Здесь — чистые потоки,
Там — скалы голые. Здесь — птица золотая,
Которая средь зелени сверкает
Цветком настурции средь изумрудов;
Там — гусеницы след зловонный, липкий,
Глаза как пузырьки болотных газов.
Противно брюхо, скользкое, тугое.
Над деревом среди стального неба

Уверенно горит и одиноко
Звезда, а под ногами горн пылает,
Горн, на котором землю закаляют.
Огни, огни! В борьбе с огнями — тени
Глазам подобны, длинные, как длани,
Как человек, живые и, как шпага,
Как шпага жизни, острые! О пусть же
Растет огонь, который завоеует
В конце концов всю землю! Пусть он крепнет,
Рычит, вываливается из утробы!
В огне начало человека; крылья —
Его предел. Но шаг победоносный
Пресечь стремятся мерзость, трусость, подлость,
И там и тут — с земли, их породившей,
Из-под ветвей, дающих им защиту,
Из рек, где путник жажду утоляет,
Они как псы, как гады, крокодилы,
Кидаются на путника, кусают
И пыль и грязь в лицо ему бросают.
Но человек одним ударом крыльев
Сметет все это. Сквозь горящий воздух
Взлетит он ввысь. Как человек умрет он,
Но станет солнцем ясным, величавым.
Поэзия высокая такой
И быть должна. Как жизнь! Звездой небесной,
И пламенно сверкающею штольной,
Но и сосной, на чьих ветвях высоких
Под лунным отблеском щебечут гнезда,
Щебечут гнезда под сияньем лунным!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Леонид Мартынов. Проблема перевода. (Вместо предисловия.)</i>	5
--	---

Мчащееся время

Михаил Акоминат. Любовь к Афинам. <i>Перевод с греческого</i>	11
Из Эдды Зимрока. Сумерки богов. <i>Перевод с древнеисландского</i>	14
Вальтер фон дер Фогельвейде. Под липами. <i>Перевод с немецкого</i>	15
Вильям Шекспир. Неблагодарность. <i>Перевод с английского</i>	17
Ян Кохановский. Песня XXIV. <i>Перевод с польского</i>	19
Шебастьян Гневковский. Богиня мода. <i>Перевод с чешского</i>	21
Виктор Гюго. Ему двадцатый шел. <i>Перевод с французского</i>	25
Шандор Петефи. 1848. <i>Перевод с венгерского</i> . . .	30
Сватоплук Чех. Подземный ропот. <i>Перевод с чешского</i>	32

От Эра до Океана

Из венгерских поэтов

Йожеф Леваи. Революция	37
Эндре Ади. От Эра до Океана	40
Внук Дёрдя Дожи	40
Сладко дремлет нищета	41
На осеннем знойном холме цветов	42
Судно, которое продается	43
Голос ужаса	44
Проклятье нынешнего пророка	45
В юных сердцах	46
Аттила Йожеф. Ищем правду вновь и вновь	47
Здесь все старо	48
Горе	49
Ночь зимы	50
Товарного порожняка с путей запасных лязг унылый	53
Прочь отсюда	54
Последний боец	55
Дюла Юхас. Фруктидор	57
Я знаю	57
Дом	58
Надгробье, 1919	59
И все-таки...	60
Радиограмма	61
Миклош Радноти. Поэт	62
Я существую	62
Пятница	64
Антал Гидаш. Удел поэта	66
Смотри, как благостен...	68

После волнений	68
Диалог влюбленной пары	69
В огне близящейся дали	71
И все-таки	75
Дюла Ийеш. Медведь	76
Надо мною голубое небо...	78
Пусть в пользу людям прозвучит твой стих...	78

Пламенный ветер

Из югославских поэтов

Отон Жупанчич. Вышивка	83
В дни тяжкие	83
Отчаянье	84
Детская молитва	85
Dies irae	86
Мирослав Крлежа. Петрушка и повешенные	89
Сельская церковь	92
Пламенный ветер	93
Памяти Карла Либкнехта	94
Миле Клопчич. Ловим бурю	96
Десанка Максимович. Весна, а я увядаю	98
Опасная игра	100
Лед твоё сердце быстро сковывает	100
Змея	100
Погоня	101
Радован Зогович. Инструкция и поздравления ихтиологам, записавшим голоса рыб	103

Среди Европы

Из чешских и словацких поэтов

Иржи Волькер. Путник говорит	109
Мостовая	109
Прощанье	110
И потому...	111
Ночь	112
Море	113
Константин Библ. Звезда	116
Вечер у моря	117
Строфы	117
Двенадцатая песня	118
Тринадцатая песня	119
Витезслав Незвал. Море	120
Ночи	122
Батавская слеза	124
Прага на пасху	128
Иржи Тауфер. Похищение равнодушия	135
В заморье	136
Тишина и грамофонная пластинка	138
Донской пейзаж	139
Штефан Жарый. Родословное древо	140
Вы, люди будущего века	143
Дайте на дыханье право	144

На полях родного Словополя

Из польских поэтов

Станислав Р. Добровольский. О Дон Кихот...	149
Юзеф Чехович. Траурная молитва	151
Скорбь	152

Юлиан Пшибось. У вершин дороги	155
Весна	156
Тадеуш Голуй. Бежать!	158
Роман Братный. Ночь победы	160
Адам Важик. Хроника	162
Константы Ильдефонс Галчинский. Благодарственная песня	164
Лирический разговор	165
Трубы праздничной почты	166
Владислав Броневский. Мазовия	170
Юлиан Тувим. Зелень	177

между апельсиновых деревьев

Из итальянских поэтов

Сальваторе Квазимодо. То скрываясь, то появляясь...	187
Высокий парусник	188
Вражескому поэту	189
15-ти с площади Лорето	189
Минотавр в Гноссе	190
В этом городе	191
И сорока черная смеется	191
Эудженио Монтале. Черная форель	193
Анжело Марио Риппелино. Лебедь Исканус	194
Альдо Северини. Закат над портом	195
На дне забоя	195
Море вечером	196

Новый Свет

Из латиноамериканских поэтов

Пабло Неруда. Аромат полей Лонкоче	199
Чтобы ты меня слышала...	200
Возвращается осень	201
Гимн возвращения	202
Хосе Марти. В ажурном замке...	204
Испанскому Арагону	204
Коль леопарду будет туго...	206
Циклопическая чаша	206
В противовес риторике надутый...	207

ПОЭТЫ РАЗНЫХ СТРАН

Редактор *Б. В. Шуплецов*
Художник *А. В. Шипов*
Художественный редактор *В. Я. Быкова*
Технический редактор *А. Г. Резоухова*
Корректор *И. М. Лебедева*

Сдано в производство 10/1—1964 г.

Подписано к печати 27/III—1964 г.

Бумага 70X108¹/₃₂=3,4 бум. л.

9,2 печ. л. Уч.-изд. л. 6,4

Изд. № 12/2363. Зак. № 20

Цена 35 коп.

(Темплан 1964 г. Изд-ва ИЛ, пор. № 342)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Москва, Зубовск. бульв., 21.

Московская типография № 20

«Главполиграфпрома» Государственного

комитета Совета Министров СССР

по печати

Москва, 1-й Рижский пер., 2